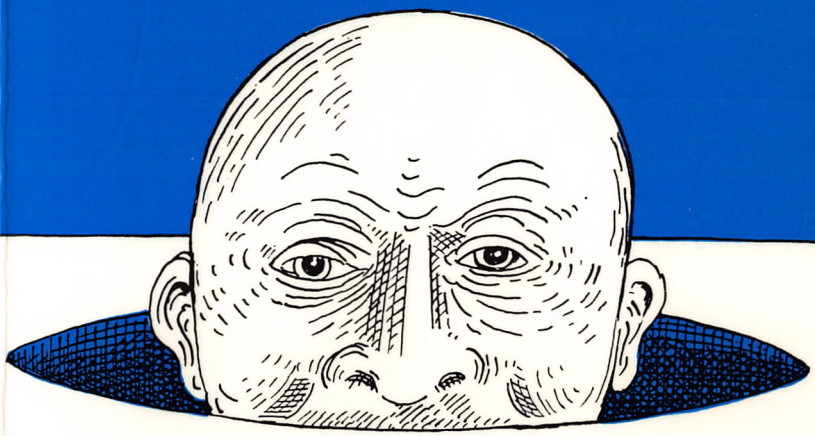
Павел Кузнецов

АРХЕОЛОГ



Павел Кузнецов АРХЕОЛОГ

АРХЕОЛОГ

Pavel Kuznetsov

ARCHEOLOGIST

A novel

Overseas Publications Interchange Ltd
London 1992

Павел Кузнецов

АРХЕОЛОГ

Роман

Overseas Publications Interchange Ltd
London 1992

Pavel V. Kuznetsov: ARKHEOLOG. A novel

First Russian edition published in 1992
by Overseas Publications Interchange Ltd,
8 Queen Anne's Gardens, London W4 1TU, England

Copyright © Pavel V. Kuznetsov, 1992
Copyright © Russian edition
Overseas Publications Interchange Ltd,
1992

All rights reserved

No part of this publication may be reproduced,
in any form or by any means, without permission.

ISBN 1 870128 29 X

Cover design by Andrzej Krauze

Printed and bound in Great Britain
by J.W. Arrowsmith Ltd, Bristol

"Ибо не понимаю, что делаю; потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю".

(Рим. 7.15)

I

И-ч-черт! больно, опять расшиб ногу во тьме, поганая доска... И зачем понесло на четвертый этаж, был тут неоднократно, ничего интересного: комод, каркас от ширмы, лопнувший диван, стул без ножки, пыль, рухлядь, драные обои с полуистлевшим нижним бельем - выцветшие буквы, желтая бумага, заголовки, лозунги, призывы разоблачать, вскрывать, изобличать, больше ничего не видно...

Взвизгнула дверь, ноги, прихрамывая, побежали вниз вслед за желтым кругляшом фонарика, по сту-

пенькам, мусору, битому кирпичу, штукатурке; второй этаж, первый, моя израненная дверь с колонией разросшихся звонков, теперь, однако, совершенно бесполезных. На сегодня обход закончился, улов невелик: пара книжек, рукопись из двенадцатой квартиры, связка писем, да, пожалуй, и все. Нет, забыл, зеркало в деревянной оправе с трещиной посередине. Таких зеркал набралось уже десяток в моем жилье - целая коллекция, галерея ущербных отражений - единственных свидетелей, подтверждающих, что я все же не призрак, не оборотень, что у меня есть образ и лик, пусть тусклый и раздробленный, но все-таки есть.

Возвращение: стук ботинок по коридору - длинной ломаной норе с осыпающейся лепкой, сундуком, старой коляской, отворенными дверьми, грязной лампочкой без абажура, кухней и тупиком. Барсук в своем убежище - прямоугольной комнате с двумя окнами, среди бумаг, книг, рукописей за письменным столом. Существо, не выносящее дневного света, дитя тьмы, потерянное в собственном лабиринте, и теперь его жизнь - разматывание клубка, поиски начал и концов...

Конечно, нелепо вопрошать - отчего, зачем, разыскивать истоки ситуации, определившей мне место здесь, в этом доме - пристанище для крыс и привидений, в пустоте семикомнатной квартиры в бельэтаже, где только скрип половиц, подпольный шорох, да ночной вой домовых в старых дымоходах лишь подчеркивают эту гибельную тишину. Да, вопрошать бессмысленно - "о чем невозможно говорить, о том следует молчать", но все же вопросы возникают, здесь и теперь, где тошнотворный привкус нереальности, нескончаемо затянувшегося сна стал почти привычен. И

ничего другого не остается, как вспоминать, писать, продолжая свои замогильные записки, исповедь из преисподней (если т а м - рай, значит, тут - ад, рассудок не в состоянии вырваться из плена этих оппозиций). Впрочем, не так уж важно, как обозначить то, где я нахожусь. Хуже, когда возникают подозрения, что это не ад или чистилище - просто белый бокс с кроватью, привинченной к полу, и бронированными стеклами, а письма с обетованной земли, которые я изредка достаю из почтового ящика, на самом деле подсовываются под дверь. Подозрения вполне объяснимые, если учесть, что эта история по мере приближения к финалу все больше напоминала мне заговор с непрестанной слежкой. От подобных подозрений и страха бывает очень трудно избавиться, а в конце концов они могут привести к параличу.

Несколько дней назад меня вытащил из такого приступа телефонный звонок, простреливший тишину впервые месяца за два. "Простите... это похоронное бюро?" - спросил скорбный женский голос и в ответ услышал радостное: "Нет, вы ошиблись!"

Забавно: прежде эти звонки нас с Ольгой, да и всех в квартире дико раздражали (ошибки случались довольно часто), а вот теперь для меня оказались благом, немного разогнали страх - ведь в белом боксе не разговаривают по телефону.

Страх... Вот одна из возможных причин, оснований, откуда и проистекало все. Да, страха всегда было предостаточно, но не того, острого, игольчатого, серийного образца тридцать четвертого года, даже много лет спустя доводившего дьяконовскую мать до паралича, а совсем другого, смутного, смешанного с испугом, тревогой, боязнью и черт знает чем еще... Был, ска-

жем, страх перед системой, страх, наползавший снизу ледяной змейкой по позвоночнику после подозрительного щелчка в телефонной трубке; был страх перед неистовством Гоги во время дебоша или страх перед словом, перед чистым листом бумаги, страх перед черной подворотней, страх беспричинный и вполне объяснимый: разновидностей много, всех не перечислишь. (Интересно, а может быть, наряду с генетической памятью существует и генетический страх?) Страх - как цемент, объединяющее начало, как зыбкий фундамент под иронией и раскатами смеха, соединявший многих из нас, таких разных: и меня, и Дьяконова, и Костю, и Ольгу, и Левина, и Веру: страх, как отметина, как знак, которым, с одной стороны, в его высших формах можно гордиться, но с другой, - он был тем, в чем очень трудно было признаваться не только другим, но и самому себе.

Например, был тот сладкий, почти мальчишеский страх, смешанный с диким любопытством, когда в телефонной трубке я слышал голос рыжего Константина, дававшего понять, что у него появились кое-какие к н и ж к и. Сначала Костя прибегал к широко распространенному коду, и в мембране появлялись названия хрестоматийных приключений - от "Таинственного острова" до "Следопыта" и "Соломоновых островов" - довольно наивный шифр, ставший быстро всем известным. Пришлось его поменять, и согласно Костиной тайнописи теперь издания, ну, скажем, полулубезобидного "Ардиса" обозначались именами всевозможных американцев ("я Фолкнера достал". "Вулф есть и Андресен". "Амброза Бирса получил - замечательные рассказы, не хочешь почитать?"). А взрывоопасные парижские издания, естественно, кодирова-

лись под европейскую литературу. Так, в телефонной системе координат "Архипелагу" соответствовала "Планета людей" ("Ах, Экзюпери, какой писатель, спасибо, давно хотел перечитать"). "Колымские рассказы" нежились под сенью "Девушек в цвету", а "Большой террор" скрывала "Очарованная душа". (Впрочем, следует сказать, что подобные уловки Костю все же не уберегли, но об этом после.)

Как это было безнадежно давно, когда - как теперь кажется - и в помине не должно было быть никакого страха, так, ну разве что чуть-чуть. А была кофейня. Семь углов, мансарда, работа, был Дима Плахов, седобородый Пуришкевич и, разумеется, Костя - рыжий крамольник, была та осенняя встреча на мансарде у Плахова - объятия, много шума, дыма, рассказов и споров, много мокрых листьев во дворе и много выпитых бутылок...

Я отчетливо помню тот конец сентября, возвращение с безденежных и бесплодных раскопок в степном Крыму, ту встречу у Плахова, когда все - даже Пуришкевич - приняли меня там как своего, то есть как бегуна, изгнанника, хотя я совсем не являлся таким, напротив - был исправным служителем во зле лежавшего мира, но это мне почему-то прощалось, как очень немногим другим. К тому же у меня многое переменилось - с шурфами, курганами, могильниками покончено, больше никаких экспедиций, никаких пробиваний, унизительного попрошайничества ("под-а-айте бедным археологам"), никаких столкновений и скандалов - общение с государством закончено: хватит! Я ведь служитель Клио, теоретик, специалист по погибшим цивилизациям - давно пора было уйти, сбежать в далекие и грозные миры: Шумер, Аккад, Элам,

Ниневия, Вавилон, читать лекции, сидеть в библиотеке, вплотную заняться монографией - диссертация подтверждена: остальное - к дьяволу! Тем более, у меня было убежище в те времена, когда всех и отовсюду почему-то выгоняли, выставляли, вышибали... Дима Плахов тогда штамповал плакаты и вывески для жилконторы; Орловский, вылетевший из клиники за частную практику с иглотерапией, дежурил на "скорой", его знаменитая Община, или Ашрам, еще возникала, а "доктор Штейнер" - Великий гуру, еще только появился на далеком горизонте.

Зато это агрессивное зловоние, исходившее отовсюду, объединяло нас, как объединяет наводнение или чума, скучивало на маленьких оазисах, крохотных островках, как, скажем, дьяконовская квартира, димина мастерская или наши с Олей две коммунальные комнаты в конце коридора - некое подобие "приюта для подранков", куда все стекались, приплывали на лодочках, как во время потопа, - все эти бегуны, не приемлющие мира, потерянные и полубездомные. Их надо было поить чаем, кормить, согревать, готовить ночлег в той десятиметровой комнате, давно пустовавшей. А они щедро вываливали на стол постылую ношу своих мыслей, печалей, ожогов и ран, начинались долгие рассказы о мучительных тяжбах с мироздaнием, бытом, властями; низвергались лавины, камнепады, осыпи, доставалось и миру, и Богу, и начальству, и даже нам с Ольгой, но надо было быть терпимым и добрым, надо было отворять заслонки, снимать заградительные поля, погружаться в чужие души целиком, проникать, быть исповедником, духовником, как будто забывшим о себе, играть, ненавязчиво подсказывать, менять обличия, накладывать грим, при-

клеивать сочувственные брови, настраивать антенну на нужную волну - и тогда могло возникнуть то, сначала тусклое, потом разгорающееся свечение - вспышка, катарсис понимания, достигнутый таким трудом.

Начинало казаться, что ты в самом деле такой же, как Ольга, - щедрый, всепонимающий, добрый - пастырь, исповедник, а не искуситель и провокатор. И собственная доброта была приятна, так нравилось направлять, слегка подталкивать чужие судьбы, просвещать, что-то внушать таким образом, чтобы им казалось, что они постигли это сами; быть маленьким языческим божком, принимать дары и благодарности и совсем не чувствовать фальши, лжи, сочившейся изнутри, и забывать о том, что душеспасительные игры, приют среди потопа нужен прежде всего тебе, и ты исцеляешь от того, чем сам же травишь, чтоб, вылечив, вновь отравить...

Возможно, отсюда все и проистекло - из этого странного пограничного существования, жизни - между, вне, посреди - на разделительной полосе под перекрестным обстрелом, между кафедрой, мундиром и этой частной, не имеющей никакого статуса, а потому нереальной жизнью среди несуществующих людей: между бегунами и диалектиками, нормой и аномалией, Ормуздом и Ариманом, между теософами и "христианами", "сегодня" и "завтра", между Олей и Верой, а точнее - не между, а везде и нигде - и там, и тут одновременно.

Поэтому все и началось с размноженности, расщепленности, с чередования ликов и личин, в суете незаметно сменяемых до полдюжины в день, с беспорядочного многоголосия, неустанно звучащего где-то внут-

ри, - двухъярусного парламента, где речи спорщиков умолкают только по ночам. Все началось с потери фокуса, с ощущения расползающейся многомерности, с предчувствия ловушки, очередного самообмана, когда вещи начинают отдавать привкусом непереносимой двусмысленности и все - от профессии, семьи, до набора любимых книг на полке - кажется не твоим, выстраданным, единственно возможным, а чужим, случайным, словно некто в свое время лукаво подсунул это тебе, а ты и принял как чистосердечный дар Провидения.

Но при том было и совсем другое, на первый взгляд, никак не связанное с предыдущим, - ощущение завершенности, исчерпанности определенного периода, того, что все проиграно, испробовано, выжато: все комбинации, возможности и варианты. Ведь все, что я вспоминаю, тянулось невероятно долго (только сейчас у того времени появились рамки), все сильнее дробилось, множилось и, разумеется, так не могло продолжаться вечно. Да, все должно было кончиться - и институт, и мансарды, и община, и кофейня, и наша обычная многокомнатная квартира с изразцовым камином в прихожей, остатками лепки на потолке, дощатым полом и всеми ее обитателями: незабвенным Антоном - последним обломком старинного рода, мгновенно пролетавшим по коридору к своей матушке и фамильным реликвиям, скандалистом Гогой и его теткой Дарьей Михайловной и Ипполитом Ильичем, старичком-художником, доживавшим свой век в двенадцатиметровом пенале.

Должна была закончиться и наша удивительная жизнь с Олей в двух комнатах рядом с коммунальной кухней и "ватерклозетом", как говорила Антошина

мать, в потоке приходящих людей, с регулярной работой, музыкой и любовью, регулярными перестановками мебели, несколько менявшими наш устоявшийся, исхоженный мир. Конечно, и тогда я чувствовал, как Оля постепенно удалялась от меня, медленно, по чуть-чуть; затем временный всплеск сближения, но словно для того, чтобы потом опять уйти еще дальше и когда-нибудь исчезнуть совсем. Меня слишком многое раздражало и в ней самой, и вокруг нее, но почему, я даже теперь не понимаю до конца. Причем раздражало не то, что, скажем, мне попросту мешало работать: музицирование, рояль, ученики, до-ре-ми, а как раз то, что мне почти совсем не мешало. Больше раздражала даже не она, не какие-то ее черты и черточки, а окружение, атмосфера - эти богомольные подруги, перекошенные девы, благостные лица, сгрудившиеся вокруг святого отца из духовной семинарии, целиком поглощенные своей миссией. Нет, само по себе все было прекрасно - и помощь, и милосердие, и обращение в веру, и остальное. Не нравилось другое - тот едва заметный привкус неискренности, надломленности, несвободы и столь чрезмерное упоение значимостью своей миссии, которое наводило на мысль, что эти люди оказались в Церкви не потому, что здесь их предназначение, а потому, что больше им негде быть: они не сами пришли сюда, а их в ы т о л к н у л и.

И так вот, медленно, она уходила, и потому я сердился, пытался ее вернуть, достать, но вместо возвращения получался взрыв, столкновение. Я помню те летние вечера в августе, где-то через год после моего возвращения из Крыма: долгие споры, объяснения - любое мое неосторожное слово выводило Ольгу из себя. В тот раз я, кажется, сказал нечто вроде вышеиз-

ложенного, она вспыхнула и, защищаясь, ответила, что во мне заговорили остатки интеллигентской рассудочности, или что-то похожее, не помню. А потом добавила с внезапной мстительностью - прежде никогда не слышал ничего подобного: "Не знаю, гордыня ли это, или там что-то другое не позволяет тебе просто склонить голову ни перед чем... потому ты и видишь во всем фальшь, и тебе нужно обязательно вывернуть все наизнанку. Но настанет время, мой дорогой, когда ты сам приползешь на пузе, уж поверь мне, и будешь хрипеть и молить о прощении..."

Тот август был началом нашего тупика. В памяти остались мгновенные снимки: приотворенное окно, нервный танец листьев под барабанный бой дождя, вода, стекающая на пол с подоконника, влажный след стакана и обломок пепла на полировке; молчание, ядовитый скрип половиц и короткие, но невероятно тяжелые фразы, не значащие как будто ничего. Еще осталось Олино лицо - усталое, темное, наполовину закрытое серыми прядями, согнутые плечи, сигарета, кресло, ненужная книга на коленях...

Как теперь трудно собирать здесь осколки исчезнувшего мира, частицы, обломки тех домов, двориков, скверов и подворотен, вспоминать запах прозрачных листьев, просунутых тополиной веткой в окно, влажных ночных улиц, пузырящихся луж под летними дождями, вкус тех темно-розовых вечеров с уснувшим на ночь тополиным пухом, вновь видеть блеск влажных глаз, следы дрожащих пальцев, скользящих рук, сплетенных тел под ласковым дымчатым светом; ощущать горький привкус кофейных зерен, испуганных чувств, спасительных слез, вспоминать тяжесть безнадежно связанных душ, растаявших жизней, тех

долгих невстреч в той старой жизни у Семи углов с мерцающими желтыми огнями и пустотой ночных площадей, где все почему-то не получалось, не сохранялось, распадалось как раз тогда, когда вот-вот должно было воссоединиться; и тогда внезапно, в минуты пронзительной ясности, возникало ощущение, что все мы образуем уже нечто иное, стоящее над нами, не зависящее от каждого из нас, не существующее по отдельности, мы - облако, сгусток, эфир, добровольные пленники в чьих-то незримых всесильных руках...

Н-да, выходит некоторый сумбур, но что поделаешь - все хочется вспомнить и воскресить сразу, здесь, за столом, в прямоугольном ящике с тахтой, книжными полками, Олиным портретом на стене работы Ипполита Ильича и старыми трофеями - скребками, амфорой, склеенной вазой с рисунком, растаявшим от времени, среди зеркал, крыс и привидений, которые бродят и шепчутся по всему дому. Да и я сам - не более чем призрак, давно привыкший к несуществованию. И главное, - в этом нет ничего сверхъестественного, никакой условности, к несчастью, все совершенно реально: опустевший дом, полувымерший город, забытый жилец. Наверное, таких, как я, тут осталось немало. Если пройтись по улице, то кое-где в окнах еще можно увидеть свет, - но мы не знакомы и ничего не знаем друг о друге.

Я здесь, а где-то там, далеко, вовсю идет строительство, горят костры, возводятся леса для еще одной грандиозной башни, которая должна будет достать до небес, осуществляется очередной проект уничтожения мирового зла - его сжигают на кострах, оно шипит и корчится, как свитки пергамента. Почему

я здесь, а не там - в прекрасном новом мире, в той далекой тусклой россыпи огней на горизонте, которую я могу увидеть, поднявшись сквозь чердак на крышу... могу... но не хочу, не желаю, не верю... Почему я здесь, то есть нигде - опять в щели, в трещине между Клио и Утопией, не приемлющий ни то, ни другое, я - ничто, оставшееся ни с чем. И почему все так устроено, что издалека, из тьмы, из ужаса и мрака, из бездны истории, утопия - это свет, цель, смысл, все... Но вблизи, рядом, вот так, как сейчас, - это энтропия, тепловая смерть, ничто, вселенский студень. Почему утопия есть цель и смысл истории, но вместе с тем ее конец; и почему, с другой стороны, беспредельность истории есть, вместе с тем, конец утопии... Почему? Почему все это произошло со мной? Я теперь начинаю понимать, что виновен и это - приговор, но кто прочтет мне обвинительный акт и определит степень наказания? Почему я здесь - вынужденно или добровольно? Может быть, потому, что там уничтожают зло, все - без остатка, а я благодарен злу, благодарен всем тем, кто владел поверхностью, кто властвовал безраздельно и твердо, кто лишил света, радости, игрушек и толкнул вглубь, в бездну, отправил в долгое путешествие по невидимому царству. Да, я благодарен этому умеренному злу, я готов хвалить и воспевать его, ибо знаю, что его уничтожение опять приведет к злу, только несравнимо более страшному... Знаю ли?

Сплошные детские вопросы, антиномии, тиски, в которых стонет обессиливший рассудок, - хор, парламент, вече, голоса... Но как различить тот главный и единственный, который, зазвучав однажды, потом сопутствует всегда, объемля и объединяя все, пробиваясь сквозь толщу напластований, золы, глины, куль-

турного шлака, дразнит смутной безотчетностью, ускользающим непостоянством, насмешливо напоминает об изначальном ядре, зародыше, первородной магме, глухо рокочущей где-то на дне, - о ней можно забыть и никогда не вспоминать, но избавиться от нее нельзя. И тут же хочется вскрыть, вспороть свои внутренности, выплеснуть лаву, выжать душу насухо, дойти до дна, до изнанки, до тайного кода - прочесть и не забывать никогда... Но капли все текут, открываются новые слои, могильники, обнажаются реликтовые осколки забытых событий, фрагменты утраченных фресок, почерневшая утварь - ее отряхиваешь кисточкой, нумеруешь, расставляя в ячейки, а тайнописи все нет - вот новый пласт, и этому нет конца...

Дурацкое бредовое занятие, в той жизни почитавшееся непозволительной роскошью, сизифов труд, но что остается делать в моем положении, когда оркестр разваливается, оставшись без дирижера. Только вспоминать, раскапывать, восстанавливать по камешкам, крупицам все, что создало и разрушило тебя; воскресить всех - от Дьяконова до обитателей квартиры, вновь заселить опустевшие комнаты, вспомнить наш злополучный семинар, Магистра, все "силы зла", основные этапы превращения человека в призрак, все, все, все... И тогда... Что тогда?.. Тогда, может быть, что-то станет ясно...

II

Насколько я теперь понимаю, один из первых узелков завязался в то скучное октябрьское утро, когда я увидел знакомый черный зонт, поднимавшийся ко мне

по ступенькам. Мои не высохшие за ночь башмаки топтались на лестничной площадке перед нашей дверью: я скрежетал ключом в заупрямившемся замке, безуспешно пытаясь его закрыть. Черный зонт, поднявшись ко мне, отвалился, открыв бежевую шляпу, затем острый, вечно любопытствующий гос с горбинкой и, наконец, чем-то взбудораженное лицо Антона. Обветренные губы тотчас ожили, затараторили нечто невразумительное о каких-то ордерах, переселениях, квартирах... Не понимая, о чем речь, я попросил объяснить все по порядку. Губы на мгновение замерли, близко посаженные глаза с радостным изумлением разъехались в стороны: "А-а, ты еще ничего не знаешь! Ведь дом-то расселяют..."

Время было на исходе, я опаздывал на лекцию, выяснять подробности - некогда. Поэтому Антон был оставлен возиться с упрямым замком, а подо мной побежали вниз восемнадцать досконально изученных ступенек. Тяжело вздохнула наружная дверь - на меня нетерпеливо и властно набросился заждавшийся осенний денек с фиолетовым сумраком, мелким дождем, топтанием на остановке, набитым вспотевшим трамваем, работой локтями, беготней и, наконец, Институтом.

О расселении слухи ходили давно, в известии Антона не было ничего нового, поэтому, чуть-чуть подымив, оно, не вспыхнув, быстро погасло. К тому же последствия бессонной ночи - разговоров и объяснений с Ольгой и предчувствие надвигающейся грозы в Институте вытесняло все остальное.

С Олей началось вечером, за чаем, с традиционных проблем - переполненного мусорного ведра и невыстиранных носков, а потом перекинулось на мировоззрен-

ческие вопросы... Не помню, кажется, я опять прошелся насчет одной ее подруги, для которой духовная филантропия стала со временем главной профессией: хлебом не корми, а найди "несчастного", которому можно было бы помочь, "спасти" и "наставить на истинный путь". Меня это все чаще наводило на мысль, что не "несчастные" нуждаются в ней, а, скорее, она в них. Да и вообще, я устал, мне надоели дома эти толпы, проходной двор, и, послушай, неужели ты не ощущаешь нечто нехорошее во всем этом?.. Оля ответила довольно резко, я тоже не сдержался - и поехало, понеслось до четырех утра.

Прошло уже два года с тех пор, как я вернулся с раскопок в Крыму, мы по-прежнему отдалялись, разговаривать становилось все трудней, однако чем больше возникала дистанция, тем, как это ни странно, становилось сильнее обратное притяжение. Обычная история: жить вместе невыносимо трудно, но разойтись казалось немыслимым. Теперь понятно, что большей частью я сам был творцом происходившего, сам ее подталкивал, отодвигал, исподволь, по чуть-чуть, расчленял скальпелем за годы сросшиеся ткани, ставил эксперимент, - зачем? зачем-то было нужно, скорее всего, ради любопытства, посмотреть, - а что получится?

С тех пор, как в Ольге появился оттенок той спокойной светлой уверенности, такой, словно она перестала сомневаться в том, что будет существовать вечно, у меня все чаще возникало ощущение, что ей - скажем так - известно нечто, пока еще совершенно недоступное мне: отсюда и странное спокойствие в светящихся серых глазах... А если не так? А может, там ничего нет - еще одна иллюзия? А если есть, если

это правда, что тогда?.. Тогда я начинал терять равновесие, часто даже не сознавая почему, цеплять, сердиться - и закручивался наш традиционный цикл с разговорами, выяснениями, уколами, упреками, с дрожащими сигаретами в тонких пальцах, взрывами, слезами, топтанием в прихожей, дверным хлопком, ночной беготней друг за другом по опустевшим улицам, как в девятнадцать лет, - цикл, к счастью, не всегда заканчивавшийся разрывом и Олиным бегством, каждый раз, конечно, "навсегда", туда, в пригород, к своим старикам, бегством, тотчас же в ином освещении представлявшим все...

Колесо начинало обратный ход, услужливо прибегали воспоминания - пронзительные, невыносимо сентиментальные, и возникало известное, но слегка забытое состояние, когда шаг за шагом на скрипучих половицах, в табачном дыму, обесценивалось все: от оконного уголка с тополями и пепельно-голубым небом, до исчирканных листков на письменном столе... И вот уже уши начинали прислушиваться к настороженному молчанию телефона, ноги срывались, выскакивали на каждый звонок (Ах, опять этот болван!), рука неостановимо тянулась к телефонной трубке, а когда на другом конце в жужжании телефонного космоса возникало родное прерывистое дыхание - тяжелый вздох, фраза, пауза, выдох, - то становилось ясно, что нам пока вряд ли удастся избавиться друг от друга, как бы мы сами этого ни хотели.

Итак, утром был Институт, где в те дни все настороженно замирало в ожидании, останавливалось, шепталось, молчало; на цыпочках перебегали коридоры слухи, головокружительные известия, многозначи-

тельно поскрипывали стулья, кресла, паркет, позвякивали стекла, подмигивали зеркала: что будет, что будет, чем закончится история с семинаром, что за кара постигнет головы еретиков?..

Сначала, как всегда, было большое серое здание, дверной хлопок, вестибюль, ритуальный плен гардероба - пошлина в виде пальто, зонтика и шарфа, расчески, вынужденной пробежаться по волосам, и улыбки, примеренной перед зеркалом. Затем - ступени, поворот, короткий спуск, дверь, холл, коридор, первые кивки, рукопожатия, шум, разговоры, голоса... и незаметно, шаг за шагом, ты уже не тот, другой - пленник, соглядатай в мундире с чужого плеча, которого принимают за своего. Прежде всего - лекция о закате и падении Шумера, вроде бы она прошла удачно. Потом я долго искал Дьяконова - разве так просто найдешь кого-нибудь в нашем лабиринте. В результате в одном из узких коридоров столкнулся с Г.Г. и Мотыльком, которые интенсивно что-то обсуждали. Поздоровались: Г.Г. холодным кивком головы, Мотылек - как всегда сердечно улыбаясь, - и пролетели мимо.

Интересно все же, что они затевают? И когда вернется наш мэтр с конгресса, неужели он наказал провести операцию без него? Где Дьяконов, Левин, где их носит? Надо же что-то делать, иначе скушают всех поодиночке... Но стоп. Как ни хочется двинуть повествование с места в карьер, надо остановиться и сделать отступление - рассказать историю нашего заведения, а то многое будет непонятно...

Институт имел довольно долгую драматическую историю. Он возник в начале двадцатых годов, собрав кое-кого из старой и не очень старой профессуры, уцелевшей в котле исторической неизбежности, поэто-

му он расцвел в два-три года, став, как позднее писали в энциклопедиях, "одним из центров гуманитарного знания". В течение полутора десятилетий здесь благополучно занимались тем, что потом прогремело на западе после войны и приплыло к нам в шестидесятые годы с высокомерной печатью неслыханной новизны и оригинальности. В те далекие времена в Институте работало несколько известных людей, посмертно ставших знаменитостями, и всегда хотелось помечтать, что бы было, если бы... в известную эпоху это тихое, скромное заведение с рассеянными близорукими мужами не оказалось бы подозрительным анахронизмом. Поэтому ничего не было удивительного в том, что в одном предвоенном году заведение просто исчезло (подробности я опускаю), бесследно растворившись в небытие за каких-нибудь два месяца. Судьбу его сотрудников каждый себе может представить. Это печальное событие в то время, естественно, не вызвало особого удивления; сложности возникли значительно позднее, когда перед очередными юбилеями неизбежно вставал вопрос об отношении к традициям.

Дело в том, что в 1947 году - так сообщалось на одном из стендов - Институт был в н о в ь образован, правда, уже как учебный, а не академический. И, например, пытливому студенту было не совсем ясно, что значило это слово "вновь", было что-либо до того или не было? С одной стороны, как будто было: куда девать имена, достижения, книжки - некоторые переиздали, по ним учились... Но, с другой стороны, если нечто имело место, то что же произошло? Ибо не могло же бывшее исчезнуть бесследно...

Эти сложности на моей памяти дискутировались несколько лет, разумеется, лишь на верхних этажах,

предлагались различные варианты, но лишь с приходом нового лидера - профессора Миловидова, проблему решили с гениальной простотой: было сделано открытие, что, оказывается, ее просто не существует! И с тех пор на любом юбилее история Института излагалась примерно так: сначала он возник в 20-е годы и некоторое время был, потом его некоторое время не было (тут докладчика спасала война, повышение голоса и двое сотрудников, попавших на фронт и погибших), а затем Институт после войны был сразу же преобразован, представ в своем настоящем виде. То есть получалось, что в некотором роде преобразовали п у с т о т у и ничто может порождать нечто.

Подобные странности особенно стали проявляться с тех пор, как наш новый лидер поместился в ректорском кресле и занялся решительным преобразованием несколько захудавшего к тому времени Института. У меня нет возможности излагать биографию нашего энциклопедиста и властителя дум - в самом непосредственном смысле этого выражения, но кое-что рассказать придется.

В прошлом, как рассказывали в кулуарах знатоки чужих биографий, после кандидатской защиты он стал быстро расти, пока не скрылся из виду в высоких номенклатурных сферах. Правда, так продолжалось недолго: по каким-то причинам вскоре последовало сокрушительное падение, которое, однако, было смягчено заблаговременно подготовленной докторской. Она и стала тем золотым ключиком, что открыл заветную дверь ректорского кабинета, так как все таланты соискателя были представлены в диссертации в развернутом виде. С помощью всесокрушающей диалектики в ней были раскрыты и изобличены происки неких

зловредных фальсификаторов, метафизиков и обскурантов. При этом, как и полагается настоящему философу, профессор не стремился к узкой специализации, писал обо всем на свете - "о мире в целом", и был настроен чрезвычайно воинственно, о чем свидетельствовали названия его книг и статей, чаще всего начинавшиеся со слова "против" и кончавшиеся словом "борьба".

Но если в научной сфере профессор был всего лишь талантлив, то в организаторской близок к гениальности. Реформировав всю систему обучения, он создал ряд новых кафедр, которые под его непосредственным руководством в кратчайшие сроки достигли феноменальных результатов, оставив далеко позади достижения свифтовской академии наук: предмет исследования был сдвинут в небытие - здесь изучали то, чего вообще не существует, занимались анализом фиктивных процессов и мнимых величин.

Одним своим существованием эти научные центры вызывали трепетное уважение у непосвященных - речь шла о таких сферах оккультного знания, что непостижимы для заурядных умов: об анализе мнимой истории или изучении лучезарного общества будущего. Понятное дело, заведовать центрами со столь призрачными предметами исследования могли лишь искушенные, прочно стоящие на земле люди - матерые диалектики и убежденнейшие материалисты. Во главе одной из кафедр встал сам профессор - непревзойденный диалектик, большой мастер той знаменитой игры без мяча из фильма Антониони, который он, впрочем, вряд ли видел. Ничего странного: как известно, наши самородки своим умом доходят до всего значительно быстрее, чем рефлектирующие умники, которым на

же требуются годы.

Но мало того, наш мэтр не только руководил, он передавал свой богатейший опыт, владение категориальным аппаратом и менее чем за десятилетие создал блестящую школу учеников и последователей, молодых, напористых, убежденных диалектиков, глубоко усвоивших мысль классиков философии (высоко ценимую учителем), что практика выше всякой теории, а практический разум глубже теоретического. За создание беспрецедентного в истории науки направления по исследованию несуществующих объектов и большой научной школы профессор заслуженно претендовал на звание члена-корреспондента Академии наук. Правда, первые представления закончились неудачно: на выборах его обошли еще более опытные мастера, думается, уже международного класса. Но не приходилось сомневаться в том, что в будущем Академия наук исправит свою ошибку и сделает его своим членом.

В результате, благодаря стараниям нашего властителя дум и его соратников, Институт из довольно расхлябанной конторы со временем превратился в крепкое дисциплинированное учреждение, отдаленно напоминающее монашеский орден, где все члены д о б р о в о л ь н о подчиняются целому, а сам профессор Миловидов получил в коридорах почетный титул Великого магистра.

Из соратников и последователей следует отметить Георгия Гавриловича, которого злые языки именовали не иначе, как двойным "Г", - правую руку магистра, человека пожилого, заслуженного, но по-прежнему активного, не стареющего душой ветерана предвоенных классовых битв, борьбы с вредителями и космополитами. Но останавливаться на нем подробнее не

имеет смысла.

Зато нельзя не помянуть добрым словом Борю Мотылева - почти моего сверстника, так как по яркости и силе дарования он мало уступал своему учителю, а в чем-то даже превосходил его. Как представитель молодого поколения, Мотылек - так все его называли - был еще менее склонен к абстрактным проблемам, схоластическому теоретизированию, предпочитал эмпирические методы и практическую деятельность самым совершенным теориям. Я помню его еще совсем юным, робким, застенчивым, когда он прибыл в наш город из дремучей глуши в единственном костюмчике и стоптанных башмаках, а теперь собственными силами добился всего, о чем только можно мечтать. Особое внимание он уделял воспитанию подрастающего поколения, был популярен среди учеников и учениц, заслуженно считался в ордене одним из главных специалистов по воспитательной работе. Как человек новой формации, Мотылек был лишен обветшавших догм и предрассудков, ставил все дела на трезвую конкретную основу и, скажем, для особо любимых учениц у него издавна существовала стабильная такса, не подверженная конъюнктурным колебаниям: зачет стоил вечер, экзамен - ночь и т. д. Успехи его были головокружительны, и потому можно было спокойно утверждать, что он с блеском применял не только в науке - как логик, - но и в жизни классический гегелевский метод восхождения от абстрактного к к о н к р е т н о м у. Справедливости ради следует сказать, что все же Боря уделял должное внимание и чисто теоретическим проблемам. Недаром он читал превосходный спецкурс "Филос. проблемы свободы в совр. эпоху" - так он значился в расписании. Судя по назва-

нию, его любовь к свободе была серьезной и глубокой, но при этом, правда, давно уже ходили какие-то мерзкие назойливые слухи, что он по совместительству подрабатывает еще в одном грозном учреждении, но, естественно, эти слухи было очень трудно проверить.

Как и его учитель, Мотылек был решительным противником буржуазного индивидуализма и на лекциях о проблемах свободы обкладывал его так, что, думается, пол-Европы дрожало, а все ее гнилостные апостолы, от Штирнера до Сартра, слетали со своих фальшивых пьедесталов и в ужасе разбегались по сторонам. Короче говоря, Борис обладал уникальными способностями во многих областях - с такими людьми, как он, можно было творить чудеса...

О, бедные мудрецы средневековья! Как справедливо заметил магистр в одной из своих статей, они принижали человека в его способности. Например, в философских прениях тех времен активно обсуждалась проблема: может ли Господь сделать бывшее небывшим? Лишь немногие смельчаки, как Петр Домиани, решались отвечать утвердительно... Но ах как заблуждались эти седобородые мужи - для подобных операций Творец совершенно не требуется! Необходим всего лишь небольшой штат - команда отборных молодцев с кафедры несуществующей истории, но, главное, благоприятная творческая атмосфера, и задача решалась в кратчайшие сроки: бывшее становилось небывшим, а реальное - мнимым...

Однажды Дьяконов раскопал в библиотеке некое издание начала пятидесятых годов, в котором наш магистр - тогда еще молодой ученый - принял непосредственное участие. Это была совершенно неповто-

римая книга по мысли, языку и стилю выражения! Для нас с Кириллом она долгое время была настольной. Особой оригинальностью в ней отличалась историческая типология - все деятели культуры были разделены на пять основных разрядов. Скажем, в первый - сугубо положительный - попадал тот, кто "отобразил", "обличил", "заклеймил". Во второй - менее престижный - тот, кто также "призвал", "обличил", "заклеймил", но при этом "п о д д а л с я". В третий - тот, кто не просто "поддался", но "подпал" (что предполагало более длительный временной промежуток) и стал "пособником". Наконец, по четвертому и пятому разрядам проходила вся "махровая" ("отпетая") и "оголтелая" публика, достигшая уже крайней степени падения. Например, про одного русского мыслителя там говорилось, что он последовательно "поддался", "п о д п а л", потом окончательно "оторвался от народа" и, собрав вокруг себя "махровых обскурантов", вскоре перешел к "оголтелой мистике".

Мы с Дьяконовым не раз спорили о том, к какой категории следует отнести друг друга. Он уверял, что я давно уже "подпал" и теперь близок к "махровым". Я, конечно, не соглашался, считая, что он валит с больной головы на здоровую, и если есть в ордене "оголтелые" - то в первую очередь это Дьяконов.

Правда, следует заметить, что сам магистр ныне пользовался нечасто этой блестящей культурно-исторической типологией - в исключительных случаях, но зато его соратники и ученики - тот же Г.Г. - использовали ее по-прежнему охотно. Помнится, одна очаровательная дамочка, Жанна Петровна, аспирантка нашего властителя дум, на защите диссертации по Егору Федоровичу Гегелю подчеркнула, что ею в кандидатской

работе был применен метод "материалистического перевертывания" идеалистической философии немецкого диалектика. Если оставить в стороне двусмысленные остроты наших мудрецов (только бы им позубоскалить в своих норах!), то надо признать, что термин был найден как нельзя точно. Наконец на исходе второго тысячелетия христианской эры все было действительно перевернуто и поставлено на свои места. Всем сомнительным, расплывчатым терминам и понятиям, которые прежде толковались каждым на свой лад - кому как вздумается, был придан однозначный и несомненный смысл, закрепленный подписью и печатью.

О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Никто на самом деле не подозревал, как велика твоя сила: сколько лет люди были уверены в том, что говорят и смеются с помощью языка, но выяснилось, что именно он говорит и смеется с их помощью. Все в этом мире дрожало, корчилось, стонало от его шершавых прикосновений: он казнил и миловал, заставлял рождаться или исчезать - все мы были пленниками его липкой паутины, знаковых ячеек, где не то что "борьба", а просто пошевелиться было трудно. И естественно, что всевозможные наивно-риторические вопросы прошлого типа "кто виноват?", "что делать?", "когда же придет настоящий день?" звучали здесь нелепо и совершенно бессмысленно.

Кажется, Розанов где-то рассказывает, что император Николай Павлович, проезжая как-то мимо университета, высказал очень точное наблюдение. "Вот паучье гнездо!" - сказало его величество, и у него на целый день испортилось настроение. Но это было давным-давно, а теперь, сто с лишним лет спустя, все, бесспорно, изменилось к лучшему: тут надо отдать

должное нашим диалектикам, они трудились, не жалея сил. И вне всякого сомнения, сегодня бы, после визита к нам, государь остался бы в самом хорошем расположении духа. Конечно, в семье не без урода - чужая душа потемки, - и даже в наши дни кое-где в темных углах еще гнездились ядовитые гаденыши, всяческая вредоносная нечисть, но в целом в здоровом общем хоре их шипение не могло быть слышно...

Я едва не забыл о самом главном: они не могли быть слышны по той простой причине, что их никоим образом и не могло существовать! Ведь в основе ордена, как, впрочем, и других учреждений, лежала фундаментальная теория современного развитого общества, правда, удивительно напоминавшая старую мистическую доктрину мисс Бейкер-Эдди, знаменитой основательницы "христианской науки", учившей, что все несчастья, болезни, все зло могут быть преодолены путем осознания их нереальности. Так вот, согласно новейшей концепции, все негативное, не соответствующее идеальной модели, выносилось за скобки и признавалось объективно несуществующим (то, что не названо, не существует). Можно подумать, что это была пустая абстракция, схоластика, - нет, ни в коем случае! Она обладала значительной материальной силой и имела широкое практическое применение: все, что она лишала статуса реальности, мгновенно таяло, сжималось, становилось бледной тенью и исчезало из виду. Многим из нас доводилось испытать ее магическое действие... Но не будем забегать вперед - все по порядку...

III

Похоже, я несколько увлекся - об истории ордена можно рассказывать до бесконечности: тема неисчерпаема. Но что любопытно, начинаешь о чем-нибудь одном, вспоминаешь, продираешься, покоряя материал, вроде бы полностью владеешь инициативой, но как-то неуловимо ситуация меняется, ты не замечаешь, как уже текст ведет тебя, а не ты его, уводит в сторону, куда считает нужным. И вот все перевернулось: теперь ты всего лишь средство, инструмент в его грозных щупальцах, игрушка, кукла, которая по наивности продолжает думать, что язык по-прежнему в ее руках...

Можно утешаться тем, что времени у меня предостаточно - здесь, в норе, за письменным столом... Повторяю, что остается делать? Вспоминать, воссоздавать, фиксировать - тогда хоть на время забываешь, что с тобой и где ты находишься. Ну, а в начале очередной главы можно, например, поподробнее представиться, как и полагается воспитанному барсуку... Итак: класс - млекопитающие, отряд - норные, семейство - скрытные. Распространен большей частью в Европе, западной части России, кое-где в Азии. Плохо переносит солнечный свет и в зимнее время впадает в спячку. И хотя некоторые - как отмечалось выше - склонны относить нас к паукообразным, это совершенно несправедливо. Мы, барсуки, весьма полезные и большей частью безобидные животные, не имеем ничего общего с этими омерзительными гадами. Безусловно, изредка и среди нас встречаются агрессивные особи, но такими чаще бывают выкуренные из своих нор и вынужденные скитаться по свету, так сказать, ото-

рвавшиеся от родной почвы. Нас следует отличать от грызунов, у которых полушария мозга невелики или недоразвиты, а также от зайцеобразных, тоже не отличающихся большим умом...

Но шутки в сторону, пора браться за дело.

В тот день в конце октября я все-таки разыскал Дьяконова в Институте, хотя и не очень быстро, изрядно побродив по лестницам и переходам и опять чуть-чуть не заблудившись. Я обнаружил Кирилла около буфета, на скамейке под лесенкой, где он покуривал после кофе.

"Ну что, какие новости?" - спросил он, но как-то вяло, так, что было видно - новости его не очень интересуют. "Да особенно никаких, но похоже, все закручивается всерьез". "М-м, понятно... А ты разговаривал с Левиным?" - спросил он тем же тоном. "Ага..." - ответил я и сделал долгую паузу. "Ну так что?" - не выдержал он. "Что, что, да ничего, все то же самое... Они имеют на него зуб, так что вполне может быть, выберут его..." "М-м", - неопределенно промычал Кирилл и замолк. А я стал размышлять вслух о вариантах исхода, перебирать тех, на кого может обрушиться высочайший гнев, а он молча слушал, курил, изредка вставляя фразы. Речь шла о нашем злосчастном семинаре, действовавшем около полутора лет. Необычность этого предприятия заключалась в том, что оно было ни с кем не согласовано, никем не санкционировано, а возникло так, само по себе, стараниями нескольких энтузиастов - в частности, Юры Левина, доцента с той кафедры, которой по совместительству руководил магистр. Семинар носил междисциплинарный характер и, грубо говоря, был посвящен в основном проблемам философии и истории, но доклады там

делались самые разные. Многие из них были посвящены вопросам обратного превращения небывшего в бывшее (довольно робкие, надо сказать, попытки вернуть фикциям статус существования), а также разного рода "махровым" личностям далекого и не очень далекого прошлого. На первых порах наши местные мудрецы, почуяв интригующие запахи, повылезали из дыр, так что на первых заседаниях состав получился довольно представительным. Потом потянулись и совсем юные, подрастающие паучата-барсучата - обычно их на лекции не загонишь, а тут понеслись на всех парах (Георгий Гаврилович, верно, потом удивлялся - и откуда их столько взялось? Морили, морили, а они опять так и ползут, так и лезут отовсюду!). Конечно, предприятие было рискованным, но, как ни странно, наш полулегальный семинар просуществовал года полтора под вывеской "методологический" и почему-то на него никто не обращал внимания. Я не буду вспоминать все перипетии, только сообщу, что после первого весьма плодотворного года он стал как-то быстро увядать. Во-первых, рисковать все же мало кому хотелось, а во-вторых, стала очевидной его некоторая бесперспективность: ну, собрались, заслушали, обсудили, поспорили, - что дальше? И я думаю, семинар вскоре бы благополучно завял, если б в то хмурое сентябрьское утро тексты нескольких, причем довольно осторожных, докладов не попали бы к одному из наших бдительных диалектиков - большому специалисту по идеологическим вопросам. Он тут же сообразил, что перед ним открывается исключительная возможность показать пример активной гражданственности. И, не долго думая, с этими текстами он рванул наверх, сначала к магистру, а затем еще выше - как

бы не опередили, не опоздать! Его бдительность имела ошеломляющие последствия. Затухающий семинар внезапно привлек всеобщее внимание - посыпались проверки, комиссии, побежали по лестницам невероятные слухи, все заговорили, зашептались... Теперь уже трудно понять, кто был инициатором всей кампании. Но очевидно, наш мэтр вряд ли был заинтересован в скандале и, скорее всего, машина была запущена свыше. Тем более, магистр тотчас же отбыл в длительную командировку, а инквизиционный трибунал, созданный орденом, возглавил Г.Г., взявшийся за дело самым решительным образом...

Я хорошо помню, как давным-давно тут же, рядом, за круглым столиком в буфете, мы сидели както втроем: Дьяконов, Левин и я. Юра был мрачен, стал все поносить, жаловаться и сказал, что если и дальше так будет продолжаться, то он уйдет с кафедры к чертовой бабушке и пойдет в ночные сторожа. И тут я сказал, просто, в качестве утешения, - мол, хорошо организовать бы что-нибудь самим, самостоятельно, нечто вроде семинара, например... Левин недоверчиво посмотрел на меня, покачал головой и ничего не ответил. А я вскоре забыл о своем предложении, мне и в голову не могло прийти, что из него может получиться нечто серьезное.

Впрочем, и тогда, на лавочке под лестницей, нам с Дьяконовым казалось, не без некоторых оснований, что уж нам-то и сейчас ничего не угрожает - надо думать больше о других. Во-первых, Кирилл с недавних пор (с появления его монографии о позднем русском средневековье) обладал чем-то вроде статуса дипломатической неприкосновенности, входил в "золотой фонд", в когорту из шести-семи человек, кото-

рую наш "капитул" при всяком удобном и неудобном случае выставлял в качестве визитной карточки, предоставляя за это ее членам максимум возможной свободы. Я же, скажем так, находился под его покровительством - Дьяконов почти на десять лет был старше меня. И, во-вторых, мы были уж слишком "неактуальны" с нашими сумрачными древностями, принадлежа к тем сферам общественного сознания, что обладают, как известно, "относительной самостоятельностью" от базиса. Это избавляло от барщины, но никак не оброка - ленную грамоту все равно приходилось оплачивать, правда, в более опосредованной форме, и мне, конечно, в большей степени, чем Дьяконову...

Когда я теперь пытаюсь воскресить облик Кирилла, из тьмы медленно выступает его силуэт: сутулая невысокая фигура, лицо в прямоугольных очках, близорукие насмешливые глаза, чаще всего обращенные внутрь, нервные, беспрестанно что-то перебирающие пальцы; когда я разбираю за этим столом его архив - от дневников до последних статей о расколе и сектантстве, я думаю, что, несмотря на нашу дружбу и Верины рассказы об их неудачном браке, я знал его все-таки плохо. То, что выглядело бесспорным, теперь под сомнением, и наоборот. Понятно, что его достоинства заключались не в его учености, эрудиции, широте, глубине и прочем, а в исключительной свободе, внутренней раскованности, которую ему удавалось сохранять почти при любых обстоятельствах и делать свое дело, несмотря ни на что. По крайней мере, так казалось тогда, а теперь я склонен думать, что действительно лишь казалось...

Если в основе системы лежал принцип признания несуществующим всего, что не соответствует модели,

то Дьяконову удвалось каким-то удивительным образом платить ей тем же. Он жил, или пытался жить, так, как будто ничего подобного не существовало, а если и существовало, то не следовало придавать этому чрезмерного значения. Меня одновременно изумляла, восхищала, раздражала и бесила его способность, преодолевая себя, понимать всех и вся, смотреть с высоты птичьего полета, откуда жизнь приобретала вполне закономерные очертания. А Дьяконов любил посмеиваться над моей близорукой привязанностью к "проблемам", "злобе дня", над неизжитой склонностью к фронде, наскокам на "статус кво"; всегда стремился подвести к мысли, что все это, в сущности, не так уж важно, мы сами заслужили то, что имеем, это не причина, а следствие, продукт чего-то другого, более высокого, проекция извечной схемы, которая для нас, здесь живущих, всегда была и будет зыбкой гармонией противостоящих полюсов. Агрессивную бегунскую фронду с непременным вызовом, скандалом Дьяконов на дух не переносил и потому не любил бывать ни в кофейне, ни на мансарде у Плахова - на "этих сборищах", куда прежде я его изредка затаскивал, да и вообще он выбирался куда-нибудь все реже и реже. Еще бы! Он мог себе это позволить. У него была нора, да еще какая - норища, двухкомнатная, отдельная, не то что у меня, с кабинетом и роскошной библиотекой, оставшейся от отца - профессора-лингвиста из того института, что бесследно исчез перед войной (его взяли, когда Кириллу не исполнилось и полгода). Это было удивительное место - домашняя утопия, барсучий рай, где при некотором внешнем хаосе - вечной пыли, переполненных пепельницах, разбежавшейся одежде, книгах и листках, сломанных выключателях -

все незримо подчинялось хозяину. Здесь, в оазисе покоя и постоянства, с глубокими мягкими креслами, крепчайшим кофе в крохотных синих чашечках, тяжелым дымом, давно пропитавшим стены, останавливалось время, возвращалось утраченное равновесие, здесь обсуждались замыслы, писались статьи, ночная тишина расстреливалась клавишами пишущей машинки, здесь раздвигались стены и оживали тени, духи, пращуры, - мир становился таким, каким хотели его видеть мы.

Кирилл жил теперь только с матушкой (сына Вера забрала с собой) - чудесной маленькой старушкой, которую он очень любил. А она пыталась опекать его как младенца, нервничала, переживала, по-прежнему дико всего боялась, пропитанная старым тлеющим страхом, - что мы ни делали, погасить его полностью было нельзя. Например, как только ей попадалось что-либо напечатанное не типографским способом, оно тотчас же, тайком от Кирилла, летело в печку или мусорное ведро. Несмотря на все его протесты, разъяснения по поводу несколько изменившегося климата, она упорно стояла на своем. Так, однажды пропала его рукопись об апокалиптических сектах, которую матушка сослепу приняла за крамолу.

Дьяконов действительно бредил средневековьем, жил в нем, купался и мог говорить без конца о Сергии, Паламе, св. Франциске, Савонароле, Аввакуме, о том, что в эти "мрачные" столетия существовала единственно возможная гармония между Богом, человеком, миром, с тех пор утраченная навсегда. Вообще-то он занимался Европой, но в последние годы его потянуло на Русь, он погрузился в "бунташный век", раскол, сектантство. Любил эпатировать своим кон-

сервативизмом в духе Константина Леонтьева, издеваться над "либерально-прогрессистскими бреднями", которые и довели мир "до такого ужаса". При этом - великолепная самазащита, круговая оборона со всех сторон, частокол из эрудиции, цитат, насмешек, выворачивающих мир наизнанку, полная закрытость - даже предо мной, - душа спрятана, свернута в клубочек, чтобы, не дай Бог, кто-нибудь добрался, увидел, осквернил нечистыми руками.

Но это было давно, совсем давно. И даже тогда я изредка ощущал необъяснимый привкус, нет, не фальши, а некоторой неестественности в столь ладно устроенном дьяконовском мире. Сначала это происходило на уровне домыслов, чистой интуиции, основываясь на мелочах, частностях - на выражении тяжелых, спрятанных глаз, на дерганых невротических пальцах, случайных фразах ("А тебе никогда не кажется, что жизнь как-то проходит мимо?"), на внезапном и сильном интересе к внешнему миру, к тому, что, по собственной характеристике, его совершенно не должно было интересовать - например, к Вере через несколько лет после развода. Со временем едва заметный надлом проступал все явственней. Становились отчетливее скрытые конфликты, чувствовались кислоты, разъедающие внутренности, и что-то еще, уже трудно определимое... Что это было? Сопротивление подавленной природы? Недостаток свежего, неконсервированного, живого? Или страх перед желанием того, на что разум наложил беспрекословный запрет? А может быть, все вместе?.. Я думаю, что он все сознавал, но никого не подпускал близко, противился, боролся, загоняя внутрь опасных двойников, видимо, пытаясь договориться с ними, но они ничего не жела-

ли слышать и потихоньку лезли, лезли из всех щелей, постепенно меняя даже внешность этого самого осуществившегося человека из всех, кого я знал.

И вот в тот день в тупике под лестницей около буфета, рядом с урной, где вместе с окурками плавал желтый плафон с лампочкой, каждый раз дрожавший при стряхивании пепла, когда мы обсуждали ситуацию с семинаром, я почти ничего не замечал. Правда, я забыл сказать, что его вялость и равнодушие были вызваны причинами, вполне объяснимыми. Их дом уходил на капремонт в ближайшее время, расселение приближалось неминуемо, и я понимал, что для Кирилла это катастрофа. Во-первых, больна мать, а во-вторых, как можно ехать в "коробки" к черту на рога после такого убежища с пятиметровыми потолками, где прожита вся жизнь. "Неужели ничего нельзя сделать?.. Ты можешь потребовать временный фонд, а потом..." "Да нет никакого фонда! Я ж тебе объяснил, здесь больше никого не селят... Квартиры дают только в новом городе и все..." "Ну, а если..." - наседал я. "Тьфу, в том-то и дело, что никаких "если". Я уже всех обошел, пойми... Круг замкнулся. Остается поселиться только на небе..." "М-да", - промычал я и, сделав паузу, спросил: "Ну, а мать как?" "Плохо", - он сморщился и махнул рукой. Что тут скажешь: я замолчал и внезапно, вспомнив об утреннем известии Антона, решил после работы изменить маршрут - попытаться узнать что-либо о нашей судьбе.

Тот день был долгим и утомительным. После Дьяконова - заседание кафедры с затяжными прениями по поводу старой коллективной монографии, которая, пролежав в издательстве лет пять, при смене редак-

ции куда-то странным образом исчезла. И, кажется, именно в тот день я впервые заметил на своей утренней лекции того стриженого человека в сером костюмчике, чем-то неуловимо отличавшегося от всех остальных. Он сидел в углу, слушал, но мало писал. Студентов было человек тридцать, я всех знал в лицо, а этот появился в середине семестра, причем выглядел немного старше остальных. Я помню, как крохотной искрой вспыхнуло подозрение, но тотчас же угасло, потонув в уверенном голосе, спокойно убеждавшем, что это обыкновенный вечерник и пора попридержать свое воспаленное воображение...

Потом была беготня по деканатам с ведомостями для выявления "мертвых душ" - заочников и вечерников, уже отчисленных, но продолжавших существовать в списках. К концу дня после долгих хождений я сильно устал и выбрался на улицу только в половине пятого. Затем было жилуправление - множество комнат, переходов, дверей, табличек, снующих людей, шелестящих бумаг. Я долго путался, попал на какое-то собрание, просидел целый час, но выяснилось, что нужного мне человека тут нет. Везде отвечали довольно туманно, расплывчато, показывали списки, документы, требовали разного рода справки и, ссылаясь на извечную неопределенность будущего, отправляли дальше. Наконец я попал к женщине, ведавшей данными вопросами; она заверила, что о расселении нашего дома и речи не идет, вокруг столько зданий в аварийном состоянии, а наш еще двадцать лет простоит. Я спросил, но ведь вроде кое-кому уже выдали новые ордера; она очень удивилась и ответила, что такого быть не может, а подобные слухи ни на чем не основаны. Информация меня обрадовала - ехать в новый го-

род, куда, впрочем, многие стремились, не было ни малейшего желания: новостройки я органически не переношу. И в хорошем расположении духа я отправился домой по мутной туманной сырости, по набережной вдоль канала, обычным маршрутом мимо черных особняков, взгорбленных мостиков, редких прохожих и напоследок решил заскочить в подвальчик родного "Букиниста", где на этот раз мне несказанно повезло... Осмотрев все, что стояло на полках и под стеклом - пыльные барсучьи радости, обнюхав длинным тренированным носом и не найдя ничего, что можно было утащить к себе в нору, я заглянул в отдел покупки. Перед закрытием там было совершенно пусто - ни очереди, ни надоевших жуликов, только растерянно топтался мокрый ободранный мужичок со старой, подозрительно потрепанной книгой, столь же жалкой и несчастной на вид, как и ее измученный изжогой обладатель. Книгой оказался шпенглеровский "Закат Европы" (23-й год издания, без переплета и титульного листа), некогда потрясший полмира, а ныне волею судеб опустившийся до столь плачевного состояния. После недолгой дискуссии "Закат" перекочевал ко мне в портфель всего лишь за красненький хрустящий лист. В портфеле он быстро отогрелся, пришел в себя и, видимо, вспомнив о своем былом величии, принял вполне надменный вид, когда минут через двадцать я извлек его из портфеля в кофейне и стал листать, вспоминая шпенглеровскую фантастику на исторические темы.

Был понедельник, час поздний, поэтому в кофейне у Семи углов никого не оказалось, кроме нашего старика Ипполита, покупавшего печенье в кондитерском отделе. Выпив "двойной", я пошел к дому. Вечером

туман окончательно овладел городом. Густая серо-молочная муть - в двадцати шагах ничего не видно - превращала дома, улицы, подворотни в тусклые сновидения, из них навстречу выплывали серые странники с поднятыми воротниками и, прошелестев, быстро растворялись в молочном сне... Ноги, наконец, дошли до своей подворотни, свернули в темноту, прошлепали по мокрому дворику мимо восьми огромных тополей, занимавших круговую оборону, но перед парадной внезапно остановились в растерянности...

Перед нашим подъездом стоял мебельный фургон с отворенными дверцами. Наш сосед Гога вместе с грузчиками и теткой, Дарьей Михайловной, догружал в него остатки своей утвари. Я даже теперь хорошо помню степень своего удивления! На вопрос: что это значит, Гога, важно улыбаясь, вытащил из внутреннего кармана ордер на двухкомнатную квартиру в Белых водах, полученный три дня назад, похлопал меня по плечу и, дыхнув свежим перегаром, сказал, что теперь у них будет такая жизнь, что в раю позавидуют... Потом крикнул грузчикам - "Ну все? поехали", - вскочил в кабину рядом с шофером, хлопнул дверью, и через несколько секунд фургон растаял в серо-молочной мгле...

IV

Когда отсюда, из-за стола, я смотрю на себя того, прежнего, столь самоуверенного и близорукого, то думаю, почему человеку не дано уловить смысл происходящих сегодня вокруг него событий? Почему все только видимость, кажимость, было или не было - все ускользает, дробится, вещи сопротивляются, убегая

от слов, слова закрывают вещи, отодвигаешь заслонку - пустота, ты опоздал, гробница давным-давно разграблена. Когда, с чего начался этот легкий сдвиг, смещение, цепочка странных совпадений - со стриженого человека в сером костюмчике на моей лекции, с Гогиного отъезда или с семинара? Или раньше? Не знаю... Я даже не знаю, что я не знаю... А если ничего вообще не было: помрачение, мания преследования, тогда я... Я, что значит "я"? "Я, я, я, что за странное слово, неужели вон тот - это я..." "Я пошел", "я подумал", что это значит, когда "я" - это фикция, условность, местоимение первого лица единственного числа. А на самом деле "я" - это множество, это "мы", "вы", "ты", "они", "я1, я2... я" - все, что вокруг, все настоящее, прошлое и будущее. Ведь то, что некогда именовалось мной, теперь россыпь, сумма частей, осколков, образов, которые надо собирать, отряхивать кисточкой, нумеровать, склеивать, пытаясь составить из них утраченное целое...

Но - стоп. Я (никуда от него не деться!), я привношу в прошлое слишком много настоящего, и оно становится другим, непохожим на то, каким было тогда. Что же было? Была наша понемногу затухавшая жизнь с Ольгой, была работа, занятия, было сидение над "Эволюцией утопии" - исследованием, возникшим както внезапно из шумерского текста о "золотом веке"... А еще в ту осень была скверная, капризная погода. В середине октября, через день после отъезда Гоги, выпал снег, и все зачихали, закашляли, схватились за носовые платки, стали натягивать меха, теплые пальто, обматываться шарфами. Но едва в домах, как всегда с опозданием, очнулись и потеплели обленившиеся за лето батареи, как небо тут же смилостиви-

лось, восточный ветер окутал город слоем теплых ватных туч, нежданный снег растаял за три часа. Сначала стало по-осеннему тепло, а затем и просто жарко, красные столбики доползли до пятнадцати градусов, пришлось снова раздеваться до курток и пиджаков. Лишь к ноябрю вновь похолодало: с севера сполз очередной циклон с туманами, дождями, мокрым снегом и всеми сопутствующими обстоятельствами - перепадами давления, головной болью, промокшими ботинками, вирусами, аспирином, горчичниками, исчезновением меда и лимонов из овощных ларьков. И город посерел, съежился, чувствуя, как во все его рукава, одежды, внутренности вместе с бактериями проникала мутная сырость, как он ни пытался согреться, застегнувшись на все пуговицы, затворив все двери и дворы, поднять воротник, как поздний прохожий, все равно было неуютно, зябко, сыро. По утрам наш старичок просыпался медленно, нехотя, уж так хотелось, натянув одеяло, подремать еще, но вставать надо, нужно жить, разжимать слипшиеся веки и подниматься, ворча на холод, дождь, туман. И тогда в домах зажигались бесчисленные глазницы, вздрагивая, завывали в ваннах краны, зубные щетки врезались в кровоточащие десны; выталкивая крышки, закипали чайники; ножи врезались в масло, приклеивалась к хлебу колбаса, зубы жевали, волосы расчесывались, губы впитывали помаду, галстуки подтягивались к воротничкам, расправляли рукава пиджаки, покрывались кремом сапоги и ботинки, ноги отсчитывали ступеньки вниз или нетерпеливо переминались в лифте, локти толкались, заполняя до отказа внутренности автобусов, троллейбусов, трамваев; шляпы, кепки и вязаные шапочки скользили вниз в светящихся стальных тру-

бах, торопились, обгоняя медленные змейки эскалаторов, уносились во мрак в грохочущих огненных стрелах, чтобы через несколько часов, вечером, возвратиться назад...

Когда-то в этом городе обитали боги, они жили едва ли не в каждом пятом доме, но теперь было сложно представить, что они действительно существовали здесь когда-то - бродили, дышали и простужались так же, как и мы, на тех же улицах, проспектах и площадях. И потому, когда по утрам на кухне я видел нашего фыркающего, умывающегося Антошу, то при всем желании мне было трудно почувствовать его связь с прошлым, хотя она была самой непосредственной. Среди его пращуров - известной дворянской фамилии - были герои войны 12-го года, генерал, фрейлина, эсер-бомбометатель и прочие высокородные господа. Некая печать предыдущего века отчетливо проступала лишь в его матушке - разговорчивой, но гордой старушке, любившей вспоминать о своем сказочном детстве, гимназии или о том, как их семья переплыла черный омут предвоенных лет, потеряв половину состава, - но в самом Антоне совершенно не просматривалась.

Хотя, возможно, я ошибаюсь, так как в своем роде Антон был неповторим. Его отличала исключительная, фантастическая энергия, которая в эпоху всеобщей усталости вызывала вполне естественную зависть. Работая много лет инженером по технике безопасности в некоем странном учреждении, где не было никакой техники и тем более безопасности, Антон увлекался всем, чем только возможно, - сфера его интересов была необъятна, все время он что-то изобретал, доставал, сочинял, над чем-то экспериментировал. И пото-

му любая неделя заранее нацеливалась на выполнение широчайших планов. Например, он должен был наконец-то получить авторское свидетельство за свое изобретение - некое подобие "вечного двигателя", - чему активно противодействовали какие-то "сволочи"; потом раздобыть списанную яхту всего лишь за пару сотен, чтобы впоследствии отправиться в кругосветное путешествие, а для этого сделать первый взнос в сберкассу; достать зеркало для создаваемого много лет телескопа; выменять редкую книгу - и многое другое... Когда в пятницу после изнурительных недельных трудов Антон отправлялся с деньгами в сберкассу, то внезапно исчезал на пару суток и возвращался лишь в воскресенье вечером, а то и в понедельник утром - помятый, опухший, с характерным букетом во рту и пятнами на воротничке, подозрительно напоминавшими помаду. "Что ж ты так низко пал, граф?" - спрашивали его, а Антон только сокрушенно махал рукой: "Аа-й, окрутили, сволочи..." Тогда он становился угрюм, ворчлив, даже покрикивал на матушку, запирался в своей комнате, где, как утверждали его компетентные подруги, уже много лет дописывал "обличительный" роман с рабочим заглавием "Кто есть кто", в котором "все сволочи должны быть выведены на чистую воду".

Но особенно при таких неудачах помогал его священный алтарь - "уголок духовности", помещавшийся в закрытом шкафчике у окна. Там, на четырех широких полках находилось драгоценное собрание античных авторов. Подобно своим предкам, Антон преклонялся перед навсегда утраченным греко-латинским раем, изучал мертвые языки, даже пытался переводить Светония - обратно, с русского на лытынь - и был

убежден в том, что мир гибнет из-за упадка классического образования. Я несколько раз видел, как он читал. Это было далеко не обычное чтение на сон грядущий, а без преувеличения - литургия, священнодействие.

Вообще говоря, Антон ко всем проблемам подходил капитально, исторически. Когда в том ноябре открылась перспектива переселения в новое жилье, то он, в отличие от меня, отнесся к этому вопросу со всей серьезностью. Антон решил постичь все тонкости жилищного законодательства, причем начал издалека, с истоков - с изучения всех премудростей римского права; проштудировал литературу вплоть до кодекса Юстиниана и составил ходатайство в жилищную комиссию на имя председателя С. П. Тугова на высочайшем уровне - de juro и de facto, по всем правилам римской юриспруденции. Надо сказать, его активность не пропала даром и, судя по той удивительной скорости, с какой ходатайство продралось сквозь все инстанции и минные поля, римское право произвело на комиссию просто устрашающее впечатление, но об этом позднее...

Правда, и у неутомимого Антона к сорока годам энергетические источники стали постепенно иссякать, начался топливный кризис, как и во всем цивилизованном мире, все чаще возникали приступы ипохондрии, угрюмости, разочарования - особенно это стало заметно после расставания со второй женой. Он начинал жаловаться, что устал, "все кругом продано" и "единственное назначение людей - это мучить друг друга"; и хочется сбежать куда-нибудь, переехать, хотя бы в пригород, "поближе к земле", там - лес, озера, покой; жениться на скромной девочке из про-

винции, купить катер, собаку, дособирать библиотеку и наслаждаться мудростью великих, а эта сумасшедшая жизнь, город-спрут, кофейня, бабы, друзья, честолюбивые планы - ну их к бесу...

Таким Антона и изобразил однажды Ипполит Ильич - в минуту печальной задумчивости с томиком Плутарха в руках. Портрет был признан удавшимся и висел рядом с алтарем на почетном месте.

Старик Ипполит за десять лет перерисовал всех жильцов в квартире - даже крепко проспиртованного Гогу - по многу раз, графические портреты были рассыпаны по всем комнатам - головы, профили, лица среди его любимых соборов, монастырей, церквушек, часовен - не жилье, а выставочные залы. Его творческой страстью была именно культовая архитектура, которую он писал в несколько старомодной манере, жадно, с упоением, словно вот-вот она должна исчезнуть. Не всегда, конечно, получалось, но порой выходило превосходно. Те, кто с ним знакомились, обычно выражали недоумение, как могло случиться, чтобы "та-а-кой художник" жил в нищете, кормясь преподаванием в изостудии, а потом семидесятирублевой пенсией, - ни мастерской, ни выставок - ничего. Все возмущались, шумели, но потом постепенно привыкали, находя в этом нечто романтическое. Одно время больше всех беспокоился Антон, предпринимавший неоднократные попытки "взбудоражить общественность", которые, правда, как и все остальное, завершались исчезновением на несколько дней и в результате выливались в появление новых "сволочей" в романе "Кто есть кто".

До сих пор мне слышится по ночам, как за стеной скрипит и стонет продавленная оттоманка, вечно не-

довольная охающим, кашляющим, незасыпающим телом Ипполита Ильича. Я вижу его в гулкой продымленной темноте, когда открываю дверцу комнаты из коридора, мгновенно, по прихоти незасыпающей памяти: его совершенно лысый светящийся череп с синеватым отливом на висках, горбатый нос, бесцветные тусклые глаза; мне услужливо подставляется стул, ему - кушетка, картины с белыми соборами по волшебному мановению возникают на стенах, в углу рождается шкаф, комната светлеет, и старик начинает один из своих длинных рассказов. Потом заходится в тяжелом табачном кашле, сотрясающем широкую, но впалую грудь, прикрывая ладонью рот, хватается за приготовленную трубку, раскуривает, жадно всасывая дым, причмокивая своими пухлыми полудетскими губами, резко выделявшимися на сухом старческом лице. Вот кашель умирает, и рассказ продолжается...

Ипполит мог вспоминать до бесконечности, скажем, о том, как в середине тридцатых поступил в Академию, когда "еще Бродский был жив" и хвалил его, в нем "видели надежду", а позднее, в 39-м, чуть не выгнали "за импрессионизм"; вспоминал войну, окопы, лязгание гусениц над головой, жуткие морозы, когда заживо замерзали на снегу, и как, вернувшись в 45-м с негнущимися пальцами, он не мог нарисовать даже яблоко, все пришлось начинать с нуля; о том, как впервые вошел в свою квартиру, мертвую, пустую, без книг и мебели, сожженных в блокаду, без жены и дочки, сгинувших зимой 42-го, - когда умерли, где похоронены, неизвестно, весь дом вымер, не у кого спросить; и ничего не осталось - ни вещей, ни одежды, ни картин, только вот медальон с фотографией... Старик вновь его доставал, забывая, что уже

много раз показывал, - крохотный портретик юной женщины с удивительно светлым, нездешним лицом, и девочкой с огромными изумленными глазами - два ненужных на земле ангела, которых Господь забрал себе на небеса.

Чаще всего в этих рассказах не было ни горечи, ни злости, скорее смирение, покорность; что было, то было, иначе и не могло быть. Но изредка Ипполит тоже впадал в хандру, начинал роптать, оживали остатки похороненной гордости, он становился сердит, даже гневен, и тут уж доставалось всем вождям и генералиссимусам. Старик начинал бубнить, что всех их обманули, использовали, все отняли, все, даже Бога, хоть мог бы сейчас верить, молиться, но нет, не выходит, не получается... Да пропади все пропадом, только вот это - культуру жалко... "Да культуру жалко", - повторял он, тяжело вздыхая.

Поразительно, Ипполит читал хоть и медленно, но жадно, запоем, как двадцатилетний, было бы только что. А кроме старых альбомов у него ничего не было, всякая муть времен Кочетова и Бабаевского. Он ни с кем не встречался, родственники умерли, и плохо представлял, что на дворе все же другие времена, что если книжек нет на прилавках, то это не значит, что их вообще нет. Время давно остановилось в двенадцатиметровом пенале, замерло этак лет на двадцать и, свернувшись клубочком, дремало где-то под кушеткой в углу. Поэтому, когда я выкладывал перед ним какую-нибудь, более чем безобидную, но редкую книгу, к примеру, "Бенуа размышляет", то Ипполит, без преувеличения, цепенел, как будто я принес бомбу или по меньшей мере крамольное воззвание. "Ка-ак?! - искренне изумлялся он. - Бенуа издали? Да что вы...

Когда это? Лет десять назад? Да что вы, я и не знал... Ай, где это вы достали, а?" И он тут же рассказывал историю, как однажды в споре перед войной он настойчиво защищал "мирискусников", через два дня его вызвали к декану, где сидел еще какой-то человек в штатском, похожий на искусствоведа. С ним разговаривали и расспрашивали часа два, и больше он вслух уже никого не хвалил. "Ка-ак?! - вновь удивлялся он, глядя на темно-синий томик с золотыми буквами. - И Мандельштама издали?! И Цветаеву? А я думал, что это все запрещено... Ах, что вы, спасибо огромное. А то сидишь тут и ничего не знаешь... Где это вы все достаете, а?"

Правда, кое-что у него все-таки имелось. Скажем, на вопрос о каком-нибудь поэте он не без гордости отвечал утвердительно: "Как же, есть! У меня переписано..." Оказывается, у старика существовала заветная тетрадь, куда все ценное переписывалось изящным бисерным почерком, вплоть до пространных поэм: что-то вырывалось из журналов, причем он подчеркивал, что из журналов, а не из книг. "Ну я ж не вредитель какой-нибудь", - серьезно говорил он.

Меня это потрясало: эпоха, которую он ненавидел, все равно жила в нем, корчилась, не умирала, время от времени выползала наружу вместе со страхом или ископаемыми словечками - "перековка", "упадничество" и прочими - полуистлевшими знаками из царства мертвых, еще по-прежнему пахнущими колючей проволокой и смертью.

Но что было самым удивительным - в своем возрасте он только собирался жить, готовился к настоящему, ради которого ему и пришлось столько вынести за семьдесят шесть лет. Формальные основания для этого

были - Ипполит уже восемь лет ждал квартиру, копил деньги - мало ли, дадут кооператив. Конечно, отмечал он, денег все равно не хватит, теперь все так дорого, придется продавать старые альбомы, единственную икону, жалко, но что поделаешь... Зато все работы можно будет развесить, будет солнце, балкон, чистота, никаких скандалов... "Вот я так думаю, - он брал чистый лист и набрасывал план размещения своих работ. - Неплохо, как вы считаете? А в прихожей и на кухне будет висеть графика, портреты там и прочее... Недурно, а?.." Ему очень нравилось, когда я активно обсуждал его планы, делал критические замечания. "Да, вы правы, - говорил он, - здесь это не поместится, я забыл, потолки-то будут низкими..." И дальше он начинал явно заговариваться; сидя на кушетке, мечтательно бормотал про "большую жизнь", где уж "обязательно все исполнится", "все разрешится", и он получит все, что заслужил.

Естественно, старика можно было понять. Для него коммунальная жизнь становилась все более невыносимой, хотя бы потому, что наш Гога, изводивший всю квартиру, почему-то испытывал к Ипполиту явную неприязнь, еще большую, чем к "этим белоручкам" - Антону и его матушке. Помнится, как недели за две до Гогиного отъезда я вернулся домой поздно, но как раз вовремя - тут вовсю шла классовая борьба. Гога в очередной раз надрался неизвестно по какому поводу и бушевал в коридоре, стоя со шваброй перед дверью Антошиной матушки - сыночка где-то носило, - и орал, что хоть они "и не аристократы и у них там никаких кровей и предков нету", но зато они "получат скоро новую квартиру с финским унитазом и утрут носы всем этим чучелам с голубыми кровями..."

Надо сказать, что Гога заблуждался относительно своей родословной, - как потомственный жлоб и родовитый алкаш в третьем поколении он имел генеалогическое древо. Это был выродившийся потомок тех крестьян-"богоносцев", что перебрались в город в 21-м году, сразу же после трагического завершения неудачного романа - вековой безответной любви интеллигенции к народу, и теперь весьма напоминал то самое пугало, которым Мережковский стращал еще в 1905 году...

Когда я вошел, борьба достигла высшего накала. Гога размахивал шваброй в коридоре у телефона, не подпуская к нему никого, а Ипполит, похоже, получивший свое, что-то воинственно гнусавил из каморки, по старой памяти пугая своего противника тем, чего давно уже нет - "управдомом" и "ЭНКАВЭДЭ", куда он Гогу все собирался сдать. Дверь его была заперта изнутри, и когда речи старика становились слишком смелыми, Гога бухал шваброй о дверь, предлагая выйти для открытого, честного боя, тогда они временно затихали. Ольги тоже не было дома, и только Дарья Михайловна робко пыталась затащить племянничка в комнату. В таких случаях, когда мне предстояло совершить героический поступок и обуздать террориста своими силами, способ был один, основанный на "шокотерапии". Надо было внезапно припереть Гогу к стене и, сделав свирепую рожу, внушить, вогнать сквозь труднопробиваемый кожный нарост мысль о том, что если еще раз нечто подобное, то будет не финский унитаз, а сто первый километр с парашей и лесоповалом, - Дарья Михайловна из-за моего плеча это авторитетно подтверждала. Параши и лесоповала Гога боялся, как вечного похмелья, так

как бывал там однажды; он тут же на глазах как-то обмякал, тушевался, начинал бормотать: "Ну, я чево... я ведь, это, ничево", - и вскоре из их комнаты начинал доноситься рокочущий храп вперемежку с причитаниями тети Даши; Ипполит вылезал из каморки, и все затихало.

Но Гога уехал, и пора возвратиться в Институт, во вторую половину октября, где, впрочем, за это время не произошло как будто ничего существенного. Магистр благополучно отбыл в столицу, чтобы с группой ведущих специалистов по оккультным вопросам отправиться на очередной вселенский философский конгресс, а Г.Г., сосредоточивший всю полноту власти в своих руках, пока ничего не предпринимал, если не считать нескольких приватных бесед с участниками семинара. Разумеется, все чувствовали, что там, наверху, что-то продвигалось - снимались трубки телефонов, давались указания, исследовались еретические доклады, из шкафчиков вынимались тяжелые папки - заслуги вероотступников, степень грехопадения, вероятность покаяния, - стучали пишущие машинки, на столы ложились белые вершительницы судеб; но внизу почти ничего не было заметно.

Подобные истории случались и раньше. Последняя произошла лет пять назад, когда студенты одного из факультетов, изнемогшие под тяжестью официальных органов, решили образовать свой собственный союз, ставивший своей целью чисто просветительскую деятельность. Началось все хорошо, но вскоре, как принято по старинному русскому обычаю, в новообразованном союзе произошел раскол: столкнулись программы, горячие головы, проекты, понеслись баталии,

фракционная борьба, группа на группу, секта на секту - словом, все как полагается, - и весь союз быстро накрыли одним большим колпаком. Наши святейшие отцы тогда учли совсем еще юный, незрелый возраст крамольников и после недолгих совещаний решили прибегнуть к традиционным, исторически испытанным мерам: всех фракционеров разжаловали в солдаты и послали проходить суровую армейскую перековку.

А что будет теперь? Кто мог знать... Возраст не позволял ждать снисхождения. Наверное, не стоит вспоминать подробно все обстоятельства, их было слишком много за это время: были разговоры, споры, хождения по кабинетам, попытки что-то объяснить и даже оправдаться, была беседа с нашим зав. кафедрой - стариком Десницким, неплохо ко мне относившимся: он настоятельно советовал сохранять благоразумие; были бессонные ночи, ожидание, страх, кто-то не выдерживал, терял терпение, на всякий случай брал больничный, ложился в клинику или уезжал в командировку; Ольга говорила, что нужно успокоиться и просто ждать - сделать все равно ничего нельзя. И оставалось только ожидание - оно сгущалось, собиралось черными тучами, надвигалось, близилось, становилось все мрачнее день за днем - 25-е, 28-е, 29-е, 30-е... а 1-го началось закрытое собрание на левинском факультете. В три часа публика зашла, заполнила зал строго по удостоверениям, дубовые двери захлопнулись и вдруг: бах-ба-ба-бах! Духота разрядилась, молния ударила в предварительно выбранный громоотвод - грохот, дым, огонь, ужас: бедный Левин был отлучен от церкви, сожжен, испепелен, развеян... И когда двери отворились, из пламени и дыма выплыл не человек - бледная тень, привидение с черными провалами

вместо глаз, пошатываясь, оно двигалось по коридору; потом сердечный приступ, нитроглицерин, уколы, больничная палата.

То, что произошло на заседании закрытого трибунала, тут же стало всем известно. Г.Г. со своею свитой обрушил на голову зловредного еретика всю мощь пламенного красноречия, весь многолетний арсенал, вновь получивший применение! Левин был обвинен в "сползании и скатывании", "пособничестве", "в реанимации исторических трупов", "в стремлении вымазать грязью историю", "в собирании темных сил" для этих "черных целей" и т. д., и т. п. Он был признан безнадежно заблудшим и приговорен к позорному изгнанию. Как рассказывали очевидцы, досталось и нам с Дьяконовым - были сделаны прозрачные намеки на "опасные силы", стоящие за спиной отлученного, мнящие себя "независимыми учеными", настало время выяснить, кем в действительности они являются. Еще говорили, что вскоре должна будет появиться статья в вечерней газетенке с устрашающим заголовком "Куда ведут опасные поиски" или что-то вроде того.

Все были ошарашены: работу выполнили настолько грубо, что запахло далекими, но всем памятными временами. Но когда ошеломление прошло, стало ясно, что Г.Г. вместе со своей командой в отсутствие властителя дум безусловно перестарался. Даже в наших видавших виды коридорах, где ничем никого не удивишь, послышалось некоторое недовольство. "П-ш-ш-ш", - из щелей, нор, углов, то тут, то там доносилось раздраженное шипение.

Мы все собрались, поговорили, подумали и, взвесив "за" и "против", даже несколько обрадовались. Пока магистр набирался мудрости на конгрессе, его

соратники сверх меры наломали дров: нужно было во что бы то ни стало этим воспользоваться. В наших руках, наконец-таки, был вполне материальный факт, бугор, вскочивший на абсолютно гладкой и обтекаемой поверхности, кочка, ориентир, маяк среди малярийных топей социального мистицизма. Настал час бросить вызов, прорвать - хотя бы однажды! - кольцевую систему перевернутых понятий, назвать вещи своими старыми, давно забытыми именами. Кстати, как ни странно, Дьяконов, совершенно утративший свое обычное равновесие и забывший на время о своих квартирных тяжбах, был наиболее воинственно настроен. Именно он предложил напрямую отправиться к магистру, высказаться, заступиться и "поставить вопрос ребром".

Профессор вернулся из дальних странствий дня через два после погрома, однако до праздников никого не принимал, а потом дня три странным образом отсутствовал, и мы попали к нему на прием лишь в середине месяца. О, каким праведным гневом горели наши благородные сердца, какие убийственные аргументы и способы давления перебирали в своих воспаленных головах два институтских мудреца, постигшие многие таинства Древней истории, знавшие совместно восемь языков, когда сидели в приемной его превосходительства, который, в отличие от своих давних предшественников, толком не знал ни одного. Был разработан детальный план, система неотразимой аргументации, но, к сожалению, она не понадобилась, ибо уроки диалектики были нами начисто забыты. Секретарь долго вел нас через анфиладу комнат - одна, другая, третья, тяжелые портьеры, зеркала, таинственные сейфы, шкафы, ящики, картотеки, машинист-

ки, что-то отстукивающие на белых листках. Мы шли, подавляя вскипающий страх, - последний коридор, поворот, ореховая дверь, дорожка... - а вот и ОН, за громадным столом, седой, благородный, породистый, слегка уставший, всепонимающие глаза...

Властитель дум принял нас ласково, сердечно, поотечески. Сначала рассказал о дискуссиях с мудрыми мира сего, вспомнил философский анекдот, привезенный с конгресса (приходит Спиноза к Канту...), а потом, наконец, выслушав возмущенную речь Дьяконова, долго делал вид, что не понимает, о чем идет речь, и, как будто, вспомнив, широко улыбнулся: "А-а, вы насчет, э-э, как его... забыл фамилию... Понятно, только откуда такая информация? Кто вам сказал, что его «выгоняют»?" - произнеся это слово, он брезгливо поморщился, словно ему пришлось сказать некую непристойность. "Но как же, как же..." - наперебой залепетали мы... "Я удивляюсь, - веско перебил он, - вы же уважаемые люди, давно работаете и лучше меня должны знать, что преподавателя, кандидата "выгнать", как вы выразились, никто не имеет права, это противозаконно..." Далее мы прослушали краткую лекцию о юридических гарантиях работы преподавательского состава, после чего выяснилось, что Левин, оказывается, уходит сам, по собственному желанию, так как направление работы кафедры ему не совсем подходит, - он заверяет это как непосредственный руководитель... Что? Ах, семинар, но позвольте, при чем тут семинар? Он не имеет к этому ни малейшего отношения, уверяю вас... Что? Георгий Гаврилович? Да, возможно, он несколько погорячился, что тут поделаешь, бывает, человек старой формации, сами понимаете, но ему уже указано на недопустимость...

Что? Нет, связи нет ни малейшей... Напротив, Левин, безусловно, способный человек, он получит от нас наилучшие рекомендации. Это все слухи, слухи, господа, все же как плохо у нас поставлена информация, как плохо! Общественность не имеет достоверных сведений...

Надо ли говорить о том, что мы вышли от магистра в некоторой прострации. Потом подумали, покурили и вышли на улицу в сизую вечернюю мглу с мокрым снегом и радужными оболочками у фонарей. Мы отправились к Левину, которого, немного подлечив, только что выписали из клиники. Правда, его облик от этого нисколько не изменился: на тахте лежала бледная тень с черно-фиолетовыми впадинами под бровями; рядом - жена с воспаленными от бессонницы глазами, смотревшими на нас с молчаливым осуждением; баночки, таблетки, ампулы на столике, больничный запах, детский писк за стеной. При нашем появлении тень поднялась, несмотря на протесты жены, согнулась, села и что-то забормотала о том, что не могла до нас дозвониться, о своем вчерашнем разговоре с магистром, длившемся два часа, о том, что упрямиться - бесполезно, через месяц переизбрание, так что ничего не оставалось делать, как соглашаться... "Так ты что, подписал заявление?" - спросил Кирилл. Тень тяжело вздохнула и после паузы выдавила: "Да".

Теперь, вспоминая эту историю, я думаю, что никогда не чувствовал себя таким идиотом, ничтожеством, как в те дни. И поделом - силы были слишком неравны: что мы, несчастные, могли противопоставить искусству верховного мага, его непостижимой власти на этой земле! Он вернулся: каких-то три-четыре

дня - и все сделано: несколько телефонных звонков, заклинаний, росчерков пера, - и колесо повернулось вспять, бугор исчез, исправились непоправимые ошибки, где-то в далекой типографии рассыпался набор уже готовой к печати статьи, где разоблачались то ли "опасные поиски", то ли чьи-то "происки" - кто теперь мог знать? Несколько взмахов, магических слов - и везде, наверху и внизу, умолкли рассерженные голоса, вещи покорно подчинились, в словах послушно поменялись буквы, нечто обратилось в ничто, человек стал тенью, а бывшее - небывшим. Все осознали, что в действительности ничего не было: ни шума, ни шепота, ни докладов, споров и страстей, никакого грохота и гневных речей, как не было и давным-давно пропавшего Института, исчезнувших тысяч и миллионов, ничего не было, понятно вам?! Потому что не могло быть.

А нам оставалось лишь усвоить наглядный урок, беречь впредь свои глупые головы и утешаться, ну, скажем, тем, что досталось на орехи и Георгию Гавриловичу - эх, садовая голова, - нашему бедному волкодаву прежнего закала, который тоже никак не мог почувствовать всех современных тонкостей и диалектических хитросплетений. Что поделаешь, он умом-то понимал, что все изменилось и только за идеализм давно уже не сажают, но крепкая, бдительная душа не принимала, не выносила этой паучьей сложности, чертовой амбивалентности (вот придумали же словечко, сволочи!); в этом мягком климате, без суровых берегов, она таяла и растекалась, как студень, вынутый из холодильника, настолько хотелось этой родной старой простоты, что в ностальгической дреме душу резко заносило на крутых виражах, она так и норовила рр-ру-

бануть с плеча, вывести на чистую воду эту гниль, разоблачить в поджогах, отравлениях, в пособничестве наводнениям или работе на византийскую разведку.

Но, разумеется, это было слабым утешением в тот вечер, когда после расставания с Дьяконовым я возвращался проходными дворами, потом шел по набережной вдоль канала, мимо желто-серого дома, у которого стоял фургон и люди в комбинезонах грузили старую мебель: зеркальный шкаф, комод, стулья, швейную машинку. Падал влажный снег, чернели окна, радужно лучились фонари, ноги брели неведомо куда и занесли к Вере во дворик - хотелось увидеть ее и рассказать. Но окна были темны, пришлось оставить записку и отправиться дальше. Шел, шлепал башмаками по лужам, по белым снежным островкам - не человек, а сплошная растерянность, недоумение, сгорбленный вопросительный знак, - шел, шаги вперемежку с хмурыми мыслями - поворот, улица, дом, знакомые витрины, которые, правда, были подозрительно темны... Ноги сами собой, автоматически, вынесли к "Букинисту", где в прошлый раз так повезло... Странно, что это? Стекло разбито, другого вообще нет, а внутри, в полутьме, перевернутые столы, пустые стены без полок, обрывки бумаг... Что такое? Куда все исчезло за две недели? Нет вывески, на дверях замок и стертое объявление - ничего невозможно прочитать... И вопросительный знак топтался в изумлении перед останками магазина - кругом пустота, улица, снег, серые здания, силуэт собора, прогудел грузовик и скрылся за поворотом... И опять было это странное ощущение, что за тобой кто-то смотрит: то изредка поглядывает, то наблюдает - чьи-то глаза, чей-то взгляд, жутким холодком пробегающий по позвоноч-

нику.

А снег валил все сильнее, сильнее, уже не таял, покрывал мостовую, оседал на ветках, карнизах, на стеклах заснувшей машины, на серой кошке, медленно перебегавшей дорогу...

V

Что делать дальше? Как продолжать? Не знаю... Лампочка начала звенеть над столом, скоро перегорит, но ничего, у меня их много, хватит надолго. На кухне в раковине стучит вода, в углу под плинтусом шуршит крыса - их все больше становится в доме, я все чаще слышу, как они цокают лапками по коридору. А так - тишина, только мой шарик царапает бумагу; тень от ручки бежит по клеточкам. Так что же делать? О чем вспоминать, что записывать? Передо мной, на правом углу стола, стопка папок - Дьяконовский архив: статьи, наброски, дневники, фрагменты... Все же не могу до конца понять, что с ним произошло, сколько ни роюсь в мелко исписанных листках. Вот, к примеру, следующий отрывок: "Мания объяснения, поиска причинно-следственных связей - как всеобщее безумие. Эта болезнь стала распространяться в Европе почти одновременно с открытием Америки. Нелепая спинозистская иллюзия, что познание освобождает от того, что познано, дает власть над ним и видимость свободы. На самом деле все обстоит как раз противоположным образом. И этой эпидемии подвержено все и вся, конечно, и я в первую очередь. В этом аспекте положение Мысли в нашем мире весьма забавно. С одной стороны, ей по-прежнему все как будто подчи-

няются или, по крайней мере, делают вид. Она еще обладает некоторым авторитетом. Но с другой, - всем ясно, что она давно обанкротилась, ей уже никто не доверяет, как 50 лет назад. Из повелителя она превратилась в шута или, скорее, одряхлевшего деспота, существующего потому, что его некем заменить, и про которого народ не таясь рассказывает похабные анекдоты. И все же власть у него надолго, он правит нами, это наша судьба, рок, хотим мы этого, или..." (Дальше неразборчиво.)

Или вот, другое, о себе: "«Мир ловил, ловил меня, но не поймал». Еще пять лет назад я бы подписался под мыслью Сковороды совершенно искренне. И дело не в том, что теперь он меня «поймал». Нет, напротив, мне удалось убежать так далеко и спрятаться, что никто не достанет, - машину времени пока никто не изобрел. Однако, Вера была права: беда не в том, что мой мир разрушается, а в том, что я сам его разрушаю. Может быть, не я, кто-то другой, другие, во мне существующие. В любом случае - изнутри, а не извне. И я начинаю более всего бояться себя или их, - бояться своей скуки, грусти, гадости, тоски, своих откровений и желаний, своей природы. Видимо, когда-то, давным-давно, был допущен просчет, крохотный, едва заметный. А теперь он увеличивается, вот и все. Тем более наступает тот возраст, когда изменить что-либо крайне трудно".

Потом идут исследования, наброски, контуры, будущих работ, последние статьи о расколе, сектантской эсхатологии, много любопытного материала, данные о раскольничьей эмиграции - "бегстве из антихристова царства", о сектах - беспоповцах, хлыстах, бегунах, нетовцах. Вот, скажем, фрагмент, характерис-

тика утопического сознания - мне он может весьма пригодиться: "Хаос в мире, отсюда хаос в голове и невозможность его вынести. Сознание не в состоянии вместить всю полноту и многообразие мира, все оттенки и тонкости, оно склонно многое вытеснять. Подобная душевная структура не выносит антиномии, противоречия, которое разъедает, разрушает ее, как щелочь. Отсюда стремление к радикальному упрощению сущего. Желание, жажда найти во что бы то ни стало универсальную Схему, набор идей, заклинаний, отмычек для всех дверей сразу. Манихейство. Сужение сознания, принятие относительного за абсолютное... Не жизнь, а сплошное ожидание, несуществование в настоящем, устремленность в прошлое или будущее; чаяние, жажда преображения, неспособность жить просто так, день за днем в повседневности, которая хуже всякого ада, бегство, странничество, поиск тысячелетнего царства..."

Да, все повторяется. Профессор Гегель не совсем точен: история по меньшей мере повторяется трижды - как трагедия, как фарс, потом как черт знает что такое, не поддающееся жанровому определению...

Вот опять мир лежит во зле, погряз всецело, безнадежно, порабощен, захвачен Диаволом - так прочь, прочь отсюда, прочь с этих смрадных улиц, кафедр, базарных площадей, прочь от торгующих во храме, от фарисеев, продавшихся сатане, от толпы, изгоняющей за правду, побивающей каменьями пророков... Бежать, бежать, но куда? Где укрыться, спрятаться, зализать раны, заизолировать нервные окончания - может, в гулкой тишине прохладных залов с портретами густобородых мужей, недоуменно смотрящих на неожидан-

ные плоды собственных усилий, с длинными рядами кожаных корешков и ностальгической пылью ушедших столетий?.. Нет, нет, и тут все изгажено, оболгано, изъедено жучками, заляпано жирными пальцами, долой отсюда, быстрей, еще дальше, за леса, холмы, горные кряжи, за топкие гибельные болота с нетронутой клюквой и непуганой птицей, - в лаптях, с посохом, в холстине, в заволжские степи, в Сибирь, тайгу, на Север, в дальние монастыри, убежища, пещеры, куда не ступит нога всесильных стражей, поганых воевод, антихристов, бежать Бог ведает куда, устать, задохнуться, опуститься на колени, пасть навзничь в траву, дышать запахом вереска, хвои, исчезнуть, раствориться в стелющейся вечерней дымке...

Но, увы, теперь не было никакого смысла уходить так далеко, бежать за Урал, на Алтай, в архангельские леса или на Дон, к вольным казакам, убежища могли возникнуть только здесь же, рядом - в темных углах, щелях, каморках, дворницких или, скажем, в этом полуподвальчике в основании шестиэтажного дома с башенкой на крыше - укромном местечке на площади у Семи углов... И вот уже я спускаюсь в том далеком ноябре сюда, вниз, по ступенькам в духоту, в сумрак, пропитанный испарениями, в опилки, чавкающие под ногами, в монотонный гул, поднимающийся над согнутыми над столиками спинами, в углу вижу огненную Костину голову, киваю, прохожу дальше и встаю в очередь за кофе.

До чего же странное это было место! Конечно, публика здесь собиралась довольно пестрая, но самым удивительным было то, что в ее числе попадались несуществующие люди, тени, полупривидения, те, кто не вписывались в модель и лишались статуса реально-

сти, - не знаю, как их назвать - ведь не было слов для их обозначения. Правда, с другой стороны, место было хоть и укромным, но вполне материальным - крашеные каменные стены, низкие потолки, кондитерский отдел, столики, кофеварка с великолепным кофе и головой Доры в белой наколке. Получалась некая двусмысленность: отчасти это как бы существовало, но, вместе с тем, как бы нет... Знакомые хмурые лица с чашечками у подбородков, бегуны, изгнанники всех направлений и мастей: вот сгорбленный полуседой доцент Драгомилов, исчезнувший из Института лет десять назад, вот круглобородый толстячок Буклинский, психоаналитик, юнгианец; вот, похоже, студент из числа тех разжалованных фракционеров; вот, конечно, наш рыжий Константин, крамольник, неистовый отрицатель, не так давно вернувшийся из глухих далеких мест после трехлетнего отсутствия.

Какой был умница, талант, и как печально все кончилось! Впрочем, всегда с первого курса был упорен, упрям до невозможности - все, что в других было перемешано, разбавлено, в нем проступало в чистом, беспримесном виде - не человек, а кубистический конгломерат, совокупность острых прямых, тупых углов, не поддающихся спрямлению и торчащих в разные стороны, - ни одной плавной линии, ни одного овала. Чуть что, всегда хлопал дверью - и до свидания. Таких, как он, упрямых, бегунов, или нетовцев, можно без труда отличить по ряду характерных признаков, за сотню лет принципиально не изменившихся: по одежде, скрытой нервозности, тревожно тлеющему огоньку в глазах, внезапным переходам от настороженной замкнутости к ошеломляющим взрывам с грозовыми разрядами, молниями, анафемами в адрес

антихристова царства, или по той особой брезгливости, с которой они берут в руки газету, популярный журнал или что-нибудь столь же мерзопакостное, мирское...

Помнится, еще на втором курсе зачем-то полез в Новейшую историю, хотя все отговаривали - ну что там можно сделать? И что за охота разгребать эти авгиевы конюшни? Но нет, после диплома стал упорно раскапывать Коминтерн, 20-е, 30-е годы, каким-то образом даже тиснул пару статей, но когда залез слишком глубоко, то ему вежливо посоветовали поменять тему; потом второй раз - более настойчиво. Он уперся лбом - ни в какую, вылез с откровенным докладом на конференции - разумеется, скандал, незамедлительное отлучение, изгнание с позором. Пришлось сменить мундир старшего преподавателя кафедры Новейшей истории на черную робу и занять вакантное место младшего грузчика овощного отдела в гастрономе № 5, куда всегда охотно проводили по конкурсу, прямо так, без ученой степени. Наш Бакунин (фамилия его была Баконин, но, называя его, все обычно меняли одну букву, уж больно был похож) рассвирепел еще больше и постепенно превратился в подпольного пропагандиста, добывал всяческие книжки, снабжал ими интересующуюся публику, - их жадно хватали, прятали, переодевали, укутывали, тревожно озираясь, уносили в черные дыры подворотен, пожирали по ночам под тусклыми дрожащими лампами, мусолили до дыр, склеивали, штопали, размножали, и, описав дугу, они возвращались назад, измученные, едва живые, но гордые своей миссией, - дома у Кости образовался целый склад и... чем все кончилось, нетрудно себе представить.

Через три года, после возвращения, одно время он часто бывал, даже жил у нас, странноприимцев, и я помню яростные споры до тошноты, бездонные ночные темы... "Вехи", "Союз русского народа", пломбированный поезд сквозь Германию, Екатеринбург, ГУЛАГ, Бердяев, год великого перелома, вермонтский изгнанник; дымище, пепел в жирных тарелках, заляпанные стопки, огурчики, капуста, бесконечный чай, порхающие руки, хрипящие голоса, бури, тайфуны, ниспровержения основ, цунами, землетрясения, Олин сердитый стук за стеной - "ну сколько можно! шестой час уже..." - ночь пролетела, голова гудит, селедочные хвосты торчат из пепельниц, рассвет хмуро вползает в комнату...

Правда, в то время с Константином стало очень трудно разговаривать, почти невозможно: сплошная нетовская философия, тьма и свет, черное и белое, упрямство - "во всем виноваты ОНИ!" и "пока все это не взлетит к чертовой бабушке, ничего хорошего тут не начнется!" - и полная глухота, кстати, такая же, как и у НИХ...

Ну хорошо, говорил я, с НИМИ все ясно, а МЫ?.. Мы где? Мы тоже тут, история одна... Сто лет назад точно так же рассуждали: есть МЫ и ОНИ, мы - очень хорошие, они - очень плохие, чем кончилось - известно... Так что как бы страшна эта история ни была, ее нельзя в очередной раз взрывать, мы должны принять и пережить ее как свою, понять ее как свою, а не как нечто, навязанное извне. Иначе нам опять отомстит, понимаешь?.. Он возмущался: "Легко сказать - "прими как свою!" А не хочешь ли принять ее на нарах во время шмона?! Ты хорошо устроился и можешь ее принимать... Или вот когда тебя мордой в парашу? Не

можешь?" "Не знаю..." "А вот я знаю. Хороша история - шестьдесят миллионов псу под хвост!.. Да я в гробу видел твою историю!.." "Ну при чем тут мою?.." "Как? Ты же с ней носишься как с писаной торбой, принимаешь и так далее..." "Тьфу! Да я не ношусь, пойми... Я хочу сказать, что все это отпечаталось в каждом из нас, пускай в разной степени, мы этим пропитаны, отравлены, сознаем мы это или нет... И всю эту "красоту" можно изжить только изнутри, медленно и постепенно... Извне это не разрушить, иначе мы разрушим и себя, и все! Будет еще хуже - было шестьдесят миллионов, будет еще сто!.." "Вот только не надо, не надо - хуже не будет... потому что хуже некуда. А вот если это продлится двадцать, сорок лет, тогда вот будет и сто, и двести, потому что от них можно ожидать все... А я лично, как говорится, билет твоей истории возвращаю, мне она даром не нужна - и это не карамазовские капризы, слезиночка там и прочее. Это потяжелее будет! И вообще, мне надоело - твои аналогии тут не работают, все уже иное... По крайней мере, те, при всех их недостатках, были хоть талантливы: а эти же - бездарны!"

Что тут скажешь? Аргумент был сильным, да и вообще тут уже ничего не помогало: ни факты, ни ссылки на авторитеты Федотова или Струве, ни монологи о том, что дело не только в них, но и в нас, - ничто не вписывалось в эти прямоугольники, проваливалось в пустоту, в толстогубую рокочущую пасть с гнилыми черными пеньками, проносилось сквозь всклокоченную огненную гриву, руки, летающие над столом, грохот, злость, сарказм.

А со мной происходила любопытная метаморфоза: если с Дьяконовым я выступал обычно в роли ниспро-

вергателя, то тут внезапно оказывался в непривычной для себя роли "апологета". К тому же после возвращения, по понятным причинам, Константин стал крайне недоверчив, подозрителен ко всем, в том числе немного и ко мне. Это чувствовалось: мало ли, не начал ли я тоже п р о д а в а т ь с я, этак понемногу, по чуть-чуть, незаметно для себя, тем более, мои "апологетические речи" вполне укладывались в эту версию. И ничего не было удивительного в том, что в конце концов наши ночные бдения завершились взрывом, ударом по столу, взлетающими чашками - и, хлопнув дверью, рыжее привидение зашаркало вниз по лестнице, полетело прочь искрящимся факелом зажигать еще один мировой пожар, грохнув парадной, исчезло, растаяло во тьме... Под занавес крепко досталось всем, не только "этим супостатам и калигулам", но и таким вот "попутчикам" типа нас с Дьяконовым, что там ни говори, а все равно исправным служителям анафемской церкви: вы что думаете? Забились в щели, устроились в теплых норах, думаете отсидеться в своих шумерах да константинополях, пока Россия будет гибнуть, да?!

С тех пор мы с ним просто здоровались, не более. Я знал только, что он устроился в газовую котельную, стал регулярно ходить в церковь, его видели там молившимся - яростно, истово, с вызовом; разругался с Орловским, сошелся с Плаховым и Пуришкевичем, бывал у них на мансарде и отзывался обо мне не слишком одобрительно.

Однако я не ради Кости спустился в тот вечер в наш нереальный подвальчик, в духоту, кофейный чад, а ради густой черной бороды, пару дней назад назна-

чившей мне здесь встречу. Борода возникла передо мной внезапно и, заслонив все остальное, схватила за рукав и потащила к столику. В дремучих жестких зарослях прорезалась щель - борода затряслась, заговорила и на меня полились, посыпались потоком новости - оглушающий водопад, Ниагара, Замбези... В Общине продолжаются распри, ученики бунтуют против учителей, те, в свою очередь, не ладят между собой, а эти подлецы хотят расколоть непосвященных, повести часть за собой, пошатнуть авторитет Верховного Гуру, ты представляешь себе, черт знает что, наконец-то есть условия, помещение для медитаций, а эти устроили разборки, интригуют, их, видишь ли, все не устраивает, они знают другой Путь, эти сопляки, каково, а?.. Зато его следует поздравить, он получил диплом по иглотерапии, никто не придерется, очень нужны книги по китайской философии, все обыскал, ни хрена не найти, а если есть, не дают на дом, мерзавцы, вот список, достань что-нибудь, если можешь?..

Борода была черная-причерная, с желтыми подпалинами, она дорастала почти до самых глаз - настоящие джунгли, как у снежного человека, и принадлежала Орловскому, медику, давно разочаровавшемуся в традиционной медицине, а теперь иглотерапевту, йогу, буддисту и антропософу одновременно, широко известному во всей округе своими уникальными способностями, и, что очень важно, посвященному члену теософской общины, крупнейшей в городе, руководимой знаменитым Гуру - то ли психологом, то ли востоковедом, - полжизни проведшим в Китае, а ныне благополучно выжитым отовсюду ревнивыми коллегами... Борода, увенчанная маленькими сверкающими глазками, на мгновение замолкла, джунгли замерли,

но тут же зашевелилась, и водопад загрохотал вновь: он лился, лился без остановки, на меня с грохотом низвергались водные потоки, а я, промокший, оглушенный, стоял и думал о тех временах, когда община была не столь знаменита, как ныне, и судьба ее была тяжела, тернista, как путь первопроходцев. Ну представьте себе: горстка людей, сгрудившихся вокруг Махатмы, ни гнезда, ни пристанища, кругом тьма, мрак, невежество, миром правит желудок, свирепствует материализм. И она, гонимая, притесняемая, была вынуждена скитаться по мансардам и подвалам, где пахло мышами, кошачьей мочой, но и оттуда ее немилосердно гнали, выметали метлами пьяные дворники, выставляли на мороз злобные участковые, на нее доносили бдительные жильцы, выживали бомжи-конкуренты, выталкивали на улицу в дождь, холод, метель. Она замерзала, стонала, металась по каморкам и красным уголкам, в бессилии падала на снег, но вставала, становилась крепче, плотнее, стеной стояла вокруг Учителя, упорно шла сквозь ветер, вьюгу, мрак, ползла по заснеженным гималайским тропам, сбивалась с Пути, шла, шла, шла и... как всегда внезапно, увидела на холме тот новый ослепительный Дворец из стекла и бетона, со статуей могучего труженика-молотобойца у ворот... И боги снизошли, взглянули на несчастную странницу, достали списки посещаемости, подумали, почесали в затылках - план горит, не тянется народ к культуре - и решили приютить ее на первом этаже, втиснуть в комнату 107 между группами аэробики и хорового пения, оформили ведомость, поставили печать, и община ожила, материализовалась, получив во Дворце титул секции аутогенной тренировки.

Материализация, бесспорно, пошла ей на пользу. Община стала постепенно расширяться, как-то незаметно отвоевала зал у хористов, вытеснив их на последний этаж под крышу - ничего, мол, и там попоют. Затем выжила из спортзала развратных дрыгоножек - экое бесстыдство, честное слово, не нашли лучшего занятия - и стала разрастаться, как население в Китае. Желающих оказалось много: еще бы! Кто не хотел бы взойти, подняться по ступеням духовного знания к ослепительному свету, стать махатмой, посвященным. Недаром про такого говорили: "Он уже в и д и т". Или: "В этом году он у в и д е л". Вокруг возник непременный ореол таинственности, по городу поползли слухи, рассказы, усиленные прежними гонениями, и в результате возникла даже необходимость отбора учеников.

Этот успех можно понять. Кто желает быть потерянным, заблудившимся, несчастным, чье бытие к тому же ставится под сомнение? Не лучше выступить в качестве носителя мировой идеи, тысячелетнего учения и чувствовать за своей спиной не унылый тупичок с булочной, помойкой и пивным ларьком, а пять, двадцать или двадцать пять столетий. Хуже всего, когда тебя попросту не замечают, если ты всего лишь тень, наваждение, мираж. Например, когда в свое время завертелась карусель с Бакуниным - сначала произошел обыск, а потом и арест пропагандиста, многих его знакомых в ы з ы в а л и, а кое-кто был удостоен чести быть отвезенным на беседу в черном лимузине, то на нашего Антона, к сожалению, даже не взглянули. Его, можно сказать, потомственного смутьяна и крамольника, не удостоили вниманием! Антон был вне себя от такого хамства и целый вечер буше-

вал на коммунальной кухне в сильном подпитии. "А меня-то почему не вызвали?!" - возмущался он.

Так вот, когда община стала ашрамом, получила почетное право принадлежать реальности, обрела вполне конкретные земные очертания, то в ней - в некотором смысле прообразе идеального града - вдруг стали происходить совершенно непонятные вещи. Началось какое-то бесконечное дробление - появились новые секции, фракции, филиалы со своими гуру и подгурками; они сначала неявно, а потом все более откровенно стали не ладить между собой, интриговать, переманивать учеников - и в конечном счете это и привело к тем распрям, о которых так бурно рассказывал Орловский.

Я знал Орловского давно, когда его борода еще не была такой густой, дремучей, когда он был еще скромным, тихим, неуверенным, трудился в клинике и приходил к нам с Кириллом за книгами по восточной философии, - с ним тогда можно было спокойно беседовать о чем угодно. Ныне - о чем ни заведи разговор - о ремонте квартир, текущей политике или ценах на водку, - то, в конце концов, все неизбежно съезжало к чакрам, кундалини, "третьему глазу", трансцендентальному сознанию и спасению заблудшего человечества... Нет, нет, поймите правильно, все это, конечно, интересно и важно, спасать, безусловно, надо - я сам некогда грешил подобными устремлениями, но после "обращения" с моим старым приятелем стало действительно очень трудно поддерживать отношения. С присущей всем нам любовью к быстрой езде он теперь стремился обращать на Восток всех, кто ни попадется, в том числе Костю, Дьяконова, Ольгу и меня. Давно разочаровавшись в возможностях построения

земного града, он считал политику тем черным маревом, в которое князь тьмы, Ариман, испокон веков вовлекает близоруких людей, чтобы затуманить сознание и отвлечь от Главного, - отсюда вся путаница и зло. На этой почве они и разошлись с Константином, который, в свою очередь, именовал общину не иначе, как местом "духовной мастурбации", - в последний раз, говорят, схватились так, что дым пошел и молнии засверкали, едва разнимать не пришлось.

Да и мне, надо признать, нередко доставалось от него за неверие и "мещанский скептицизм". Орловский беспрестанно уговаривал меня вступить в ашрам, у них там есть даже исследовательская группа - два биолога, психолог, физик и философ, два кандидата наук - серьезные, умные люди нужны для повышения интеллектуального потенциала, появилась даже возможность издавать ротапринтные сборники, - подумай еще раз, говорю тебе... Но я мягко отказывался, ссылаясь на хроническую нехватку времени, и в результате в наших беседах подвергался основательной критике. Опять-таки, если в Институте я слыл в мировоззренческом плане весьма сомнительным человеком, едва ли не мистиком - последняя статья вернулась назад, искромсанная красным магистерским карандашом, - то от Орловского мне попадало за "убогий рационализм", "духовную слепоту" и даже "пристрастие к зловонному материализму". И лучше было не возражать, не высказываться, не шутить: он был всегда серьезен, как школьный учитель, легкой насмешки не чувствовал - пролетала мимо, а чуть сильнее зацепишь - сразу вздымался, как от электрошока, багровел, вспучивался, штормил, - не приведи Господи!

Я отчетливо помню тот вечер в самом конце осени.

Все сохранилось: и черная борода с желтоватыми крошками, и неостановимо льющийся водопад, и горький вкус неперемолотых крупинок на языке, шуршащий пропеллер, плафон под потолком, утонувший в моей чашке с бурой жидкостью - вот-вот, кажется, выпьешь и проглотишь его: осталась даже старушка, маленькая, седая, с жуткими кровавыми белками, сгребавшая со столиков посуду, и, конечно, Антон, который появился в кофейне внезапно, прошелестел, лавируя между столиками и согнутыми спинами, и, складывая на ходу черный драный зонтик, увидел нас, вклинился, заговорил...

В первую очередь он сообщил о том, что магазин напротив только что закрыли на неопределенный срок, черт знает что такое, даже сигарет теперь купить негде, придется таскаться в такую даль!.. Я удивился и сказал, что еще вчера он вроде бы работал. "Вчера, - передразнил Антон, - а вот сегодня уже закрыли, сволочи!"

Однако тут же, на глазах, он быстро переменился, похоже, вспомнив о чем-то очень приятном, и, сделав многозначительную паузу, вытащил из внутреннего кармана розовый бланк с печатью - ордер!.. Сегодня получил, поздравьте - двухкомнатная, у Белого озера, с лоджией и встроенной мебелью, окна на парк... Антон был не в силах скрыть своей радости, размахивал перед нами розовой бумажкой - магическим пропуском, билетом в страну Эльдорадо.

Вот так-то! Не зря он штудировал кодекс Юстиниана, над ним смеялись, а он оказался прав!

С годами ко всему постепенно привыкаешь, но эта новость, мягко говоря, была неожиданной. Ведь не прошло и двух месяцев с тех пор, как Антон подал в

инстанции свое историческое ходатайство. Трудно сомневаться в действенности правовой науки - Римское правое, бесспорно, универсальная, великая вещь, недаром его читали во всех университетах еще в начале столетия, но в любом случае подобный эффект предвидеть было трудно...

Орловский, который переехал туда еще год назад, спросил о точном адресе. Выяснилось, что Антон будет жить почти рядом с ним. И тут, забыв обо мне, они взахлеб заговорили о прелестях этого места, о том, какая там природа, пруды, парки, холмы... Даже современная архитектура и то необычна: ничего общего с типовыми застройками, - говорят, архитекторы получили премию...

А я стоял рядом, пил кофе, слушал их головокружительные речи и думал: одно из двух - либо что-то происходит со мной, либо с ними. И еще было такое чувство, что кто-то внезапно разделил нас прозрачной перегородкой - я был по эту сторону, а они по ту.

VI

"Я обзавелся норой, и, кажется, получилось удачно".

Что ж, мое убежище тоже неплохо - многие бы позавидовали, но тем не менее... Как бы обширна и перспективна в смысле углубления нора ни была, ее обретение нельзя назвать полной удачей. Почему?.. Видимо, потому, что в этой фразе есть одна неточность - норами все же не обзаводятся, а принуждают обзаводиться, в них попросту загоняют. И вот, хотя все так чудесно: тишина, заброшенность, одиночество, стол,

световой конус лампы с крутящимися пылинками, окно, срез двора со стволами тополей, тетрадь - чего еще можно желать? - что-то все равно мешает, томит, зудит и точит, отрывает от стула, гонит зачем-то в коридор, на кухню... И ставишь чайник в десятый раз на дню, слушаешь, скрипя половицами, как его раздраженное шипение постепенно переходит в удовлетворенное бульканье, пьешь чай с окаменевшим вареньем и сухариками под стук падающих в раковину капель, наблюдаешь за прусаком, крадущимся вдоль плинтуса, - взгляд начинает скользить, бесцельно слоняться по растрескавшемуся потолку с грязно-ржавым пятном, похожим на контуры Каспийского моря, по сплетению труб, где когда-то был газовый счетчик, а теперь паук свил паутину; встаешь, начинаешь бродить в полутьме по пустым комнатам, заходишь к Ипполиту, Гоге, Антону, потом зачем-то выходишь на лестницу, идешь дальше по квартирам - впереди бежит желтый кругляш фонарика, - возвращаешься, так ничего и не найдя, начинаешь рыться в пыльных чуланах (их у нас три), переворачиваешь старье, ветошь, допотопную обувь, стопки газет с мышиным пометом, старую коляску, торшер, изъеденное молью боа... Зачем? Просто так? Вряд ли. Ведь мысль о болезни все равно не отстает, кружит где-то рядом, словно наблюдая за тобой, ее загоняешь, заталкиваешь внутрь, но она всплывает жутким акульим плавником - опять подозрения, страх: а что если?.. И хочется прикоснуться, схватиться за что-то прочное или увидеть, почувствовать себя в рассеченном зеркале - не сгинуть в беспредметной пустоте, в чистой протяженности Ньютонова пространства.

Впрочем, мне всегда сопутствовал этот неистреби-

мый зуд, желание покопаться в старье - везде надо было сунуть нос, все взвесить, ощупать. Так было всегда, почти что с детства. Я вспоминаю, как мой покойный учитель, профессор Т., на последнем курсе перед дипломом, когда решался вопрос, оставаться ли мне в древности или выбрать что-нибудь посовременнее, настоятельно советовал забраться как можно глубже: "Поймите, это будет единственное место в вашей жизни, где вы сможете чувствовать себя свободным... Больше свободы у вас нигде не будет, уж поверьте старику, укройтесь там и вылезайте как можно реже... Гегель говорил, что история - это прогресс свободы. Так вот для нас теперь дело обстоит как раз наоборот, чем дальше от конца к началу, тем Клио милосерднее, тем легче дышать..."

Я внял его советам, хотя тогда как следует этого не понимал: надо ли говорить о том, насколько он был прав. Вот бы всю жизнь сидеть и сидеть в своем Шумере на берегу великого Евфрата, укрыться в щели раскопа от ветров и всесжигающего солнца и копать, копать, копать... Так нет же, вечно куда-то тянуло, урода, - поглядеть, увидеть, сравнить: как там и как зовут? Может, там все по-другому?..

И вот из Лагаша ноги отправлялись на Тигр в город Урук, где людям покровительствуют грозный бог Энлиль и прекрасная богиня Инанна и где ступенчатая башня - Зиккурат, говорят, достает до небес. А оттуда под палящим солнцем - в столицу мира Вавилон, войти сквозь великие ворота в город славы и греха, чтобы там заблудиться и едва не пропасть; затем долгий путь в Ниневию, где правит неистовый Асархаддон; дальше - Иудея, еще дымящиеся развалины несчастного Иерусалима, стертого Навуходоно-

сором с лица земли; потом базар, невольничий рынок, пестрая толпа в портовом городе Тире, где кровожадность молоха еще совсем недавно не знала границ; легкий бриз в парусах финикийских кораблей - бесконечно длинный путь мимо туманных очертаний Крита по направлению к Геркулесовым столпам - плыть, плыть по Млечному Пути дни и ночи, попасть в жесточайший шторм, едва не оказаться во власти Посейдона и, наконец, увидеть по левому борту во влагой насыщенной тьме мутные дрожащие огни Карт-Хадашта, "Нового города" - Карфагена... Длительная остановка, отдых, развлечения, скука. И отсюда уже хочется успеть в Рим на Вековые игры, потом в захиревшие Афины, а там и рукой подать до Константинова града, где ученые богословы поведают тебе о величии истинной веры... Дальше на Север, вверх по течению Клио, пешком с посохом, в холстине, с котомкой за плечами сквозь гибельные перевалы, через Дунай, к степям и равнинам, брести, пересекать еще не заметенные снегом следы Аттиловых орд, промчавшихся на Запад, мимо еще теплых костровищ с запахом вяленой конины, сквозь дожди, метели, топи и леса - одинокий пилигрим, паломник по святым местам, бредущий наугад от края до края, от звонка и до звонка... И вот он ворвется внезапно дребезжащей трелью в ступенчатый зал с амфитеатром, оповестит, что твое время кончилось, пора очнуться... Тогда загремят откидываемые стулья и крышки парт, закроются конспекты, заговорят заждавшиеся голоса, а два или три очкастых умника непременно окружат, замучают инфернальными вопросами...

Но самое скверное - что за дверьми тебя будет нетерпеливо и злобно поджидать квадратная морда

бумажной современности, в костюмчике, при галстуке, с портфелем, - тут же накинется, закружит, завертит, завалит своим мусором и хламом, будет нагло требовать, шуметь и угрожать. Она застигнет врасплох - пленит и свяжет крепче, чем петли гуннов, опутает липким, дурманящим страхом, погонит по канцеляриям, лестницам, коридорам, по своим бессмысленно-важным делам...

Нет, нет, надо сопротивляться, удерживать свой спасительный островок, крохотный оазис в песках Аравийских пустынь, всеми силами отбиваться, отгонять!.. Но она, почувствовав отпор, тут же сменит тактику, обличье, станет льстить, лукаво улыбаться, соблазнять всеми дарами мира, будет медленно двигаться вокруг в чарующем танце, поблескивая влажной поволокой загадочных глаз, что-то нашептывать, обольщать... Нет, нет, долой - и это не пройдет, прочь, прочь: "Изыди, Сатана!" Надо думать, думать, думать, не поддаваться, трясти помутневшей головой... Чего я все время боюсь? Боюсь на лекции произнести слишком резкое слово, прикусываю язык, задумав рискованную аналогию, не решаюсь на сокрушительный набег в чужие владения - сегодняшний день (кстати, тот странный студент вновь появился на последнем ряду после некоторого перерыва); боюсь быть вынесенным за скобки в небытие, стать очередной тенью, которой будет очень трудно преодолеть мнимость своего существования? Что это, где причины? Откуда это всплывает? Страх это или просто боязнь? Нечто вполне конкретное или метафизически-неопределенное? Скорее всего, второе с небольшой примесью первого. Да и вообще - вопрос бессмыслен, граница неуловима, старания напрасны... Ничего не остается, как это преодо-

леть, загонять в глухой крысиный угол, принимать все как есть и, прокляв в очередной раз Клио, сделать все же этот шаг, переступить порог, заставить себя войти как ни в чем не бывало в наш фальшивый и скучный лабиринт, подняться вверх по лестнице на второй этаж, столкнуться с Мотыльком, оставить ведомости в деканате, улыбаться, кивать, говорить; потом разыскать Кирилла, узнать новости, потолковать... Не чувствует ли он ничего настораживающего? Что слышно там, наверху? Интересно, чем все закончится?.. Нет, не чувствует - ему наплевать... Ах, да, я забыл, у него мать при смерти, он мрачен, отвечает вяло, неохотно...

Потом, по ноябрьской слякоти, придется отправиться в жилуправление, сидеть в очереди в приемной, слушать старушечью болтовню, войти в тяжелую дверь, вновь пытаться выяснить свою будущую судьбу, выспрашивать об ордерах и капремонте. Но тут опять не скажут ничего определенного, будут отвечать уклончиво, рыться в каких-то папках, ящиках и картотеках, зачем-то требовать справки, свидетельства, бумги... Затем отправиться в кофейню на свидание с Верой, которая на этот раз назначила его именно там - поближе к плаховской мастерской...

Стоп. Пожалуй, это самое интересное из всего, что было в конце ноября: здесь пока и остановимся.

Итак, сначала в сутолоке плеч, висков и щек возникла серая узкая спина, воротник плаща, поддерживающий темный, коротко подстриженный затылок, - вот он поворачивается, словно предчувствуя мое приближение, рассеянно скользят невидящие глаза... и - всплеск узнавания, улыбка, взмах руки, ритуальные жесты при соблюдении дистанции: привет, давно не

виделись, вставай сюда, ну, как дела... А вот... - вы, кажется, знакомы... Из толпы навстречу мне выплывает серьезное лицо с пшеничными усами на высоченной узкоплечей подставке, с двумя чашками в руках, настороженно поглядывающее на меня. Конечно, узнал - это физик, очередной неутомимый поклонник, бродящий по пятам с приготовленной рукой, сердцем и квартирой. Обмен любезностями, Вера извиняется взглядом - я тут ни при чем, так получилось...

Это первый знак, потом следует второй, дистанция постепенно сжимается, в плотине - брешь, и туда льется, заполняя пространство, то, наше, непередаваемое, возникающее помимо языка, слов о качестве кофе, скверной погоде и каком-то фильме, слов, порхающих над столом, та аура, светящаяся в уголках глаз, прищурах, как бы рассеянных взглядах, меж тонких пальчиков, размешивающих сахар, незримо отодвигающая угрюмого усача все дальше и дальше куда-то на периферию.

Встреча была как будто деловой. Вере нужен был художник для оформления переведенной ею детской книжки, и мы собирались на мансарду к Плахову переговорить... Не помню, о чем шла речь за столиком, меня удивило другое - может быть, потому, что мы давно не виделись. Она выглядела не то что постаревшей, уставшей, нет. Нельзя даже сказать, что она как-то потускнела, напротив, в ее усталости была своя грустная прелесть, бледный ореол, свечение. Поразили отчетливо проступившая надломленность, более того, готовность к капитуляции, вялая покорность, полубезразличие, плохо скрываемое - так уж, по инерции - за прежней исчезающей легкостью. Временами такое чувствовалось и раньше, но, подразнив, оно тут же

скрывалось под гримом насмешек, острых уколов, игры. А сейчас, похоже, она не пыталась ничего скрывать, ей было все равно, вижу ли я это или нет, турнир закончен, она проиграла... Ну, а усатый физик, которого, судя по всему, бесило возникшее между нами странное облако, безуспешно пытался его разрядить путем демонстрации собственного ума и о чем-то рассказывал...

И мгновенно, со взмахом волшебной палочки, вспыхнула и засветилась та давняя, едва ли не первая серьезная встреча на квартире у Дьяконова года четыре назад. Они недавно развелись - насколько я мог догадываться, Вера ушла от него, но причины были мало понятны: Кирилл отмалчивался. Она пришла с Бобошей, длинноволосым толстогубым малышом, не очень похожим на Дьяконова. Они обсуждали что-то житейское - перевозку мебели к Вере на квартиру и то, где ребенку быть летом, но вот что было странным: они разговаривали, как-то не глядя друг на друга, словно собеседника не существовало, как будто им неприятно или стыдно друг на друга смотреть. Глаз тотчас отметил некую несовместимость, нестыкуемость, такую, что трудно было представить, как они прожили вместе несколько лет... В запыленных чуланах памяти до сих пор сохранились драгоценные мелочи, милые безделушки: колечко на тонком пальце, ее бежевый длинный плащ, несколько фраз, рассеянные бледно-серые глаза, топтание остроносых сапожек в прихожей и, главное, - ощущение скрытой силы, загадки, лабиринта, который тревожил, манил, звал в путешествие.

В прихожей перед прощанием кто-то неудачно прислонился к выключателю, щелчок - лампочка осле-

пительно вспыхнула в предсмертной муке, и все исчезло... Тьма, квартирный апокалипсис. Я стукнулся лбом об косяк, захныкал малыш, выскочила и запричитала Кирина матушка. Пробок у Дьяконова, естественно, не оказалось, пришлось ставить "жучки" - никто не помнил, как их делать, - искать свечи на кухне... Руки зашарили в темноте - плита... стол... шкафчик... дверца... локоть стукнулся обо что-то твердое - дзынь! - на полу зазвенели осколки... Суматоха, вынужденное объединение перед коварной темнотой, никак не ввинчивается пробка - секундная вспышка, буркнул холодильник, - снова тьма, тишина и, наконец, ура! - свет, хохот, собирание осколков на полу, незапланированный кофе с коньяком. Все вдруг стало легким, естественным: мы словно все давно знакомы, старые приятели - смех, рассказы, разговоры, и только глаза по-прежнему незаметно ощупывают друг друга, сталкиваются, отворачиваются, с приятным равнодушием проскальзывают мимо...

Так некогда все начиналось, и вот столько-то земных оборотов спустя в этом подвальчике уже дымилось пепелище - мутный дождь за стеклами лился на тлеющие угольки, черные огарки, полуразрушенный остов, но угольки еще тлели, дымились, шипели под гибельным дождем, и облако еще возникало, еще искрились слабеющие электроды, и души вздрагивали и глухо рыдали где-то во тьме, и сладкий тающий дым еще слегка пьянил и застилал глаза.

Я помню, как мы вышли наружу и повернули за угол (два слова на ухо усачу - и он был вынужден покинуть нас), перебежали по белой решетке вместе с догола раздетой аллеей на другую сторону, проскочили мимо заколоченного магазина, пустых цветочных

лотков и исчезли в низкой подворотне. Вышли проходным двором сквозь садик на проспект, потом остановились. Закурили... Небо подустало, дождь кончился, лужи перестали моргать и изумленно смотрели на нас своими фонарными зрачками.

Надо ли все вспоминать? Ведь было много, слишком много всего с тех пор, как началось в том грустном сентябре, в той комнате на пятом этаже под оранжевым абажуром с кисточками и теневой решеткой на стенах, детской кроватью, словарями, обилием франкоязычных книг, сломанным диваном и странной глубиной за бледно-серыми глазами... Пороемся в чуланах, что-нибудь найдем еще: вот столик с пишущей машинкой, переводы, разбросанные листки, чай, печенье, много дыма, бутылка "Каберне" и долгие, долгие осенние вечера. Еще мы обнаружим полупрозрачное стекло - занавес, кем-то намеренно опущенный меж нами, - сквозь него никак не проникнуть, не продраться, не войти, не рассказать... Ничего не выходит - все слишком разно: чувства, вкусы, сны, книги, фантазии и смех. Условные знаки, сигналы отскакивают, скатываются в пропасть. Круговая оборона - ни щели, ни трещины, чтобы проползти и дотронуться до живого.

Ток, ток, ток - бегает маятник, палец скользит по полировке, оставляя влажный след, дрожит решетка на обоях... Молчание, тяжелый вздох, взгляд на часы и, наконец, ее слова, мысленно отодвигаемые как можно дальше: "Ну что, пора, на сегодня хватит... Надо спать..." Лязг входной задвижки - "тсс-с, тише, соседи!" - неопределенная улыбка, мягкая, чуть влажная ладонь, прощание, шарканье ступенек, черный двор с единственным живым окном, внезапная пустота проспекта - ночь, сонные витрины, желтая дробь све-

тофора, горечь мокрого асфальта, забытое чувство одиночества и - шаги, шаги, шаги...

Многое напоминало Кирилла: понятно, почему они прожили недолго. Такая же гордыня, бешеное самолюбие - кругом глубокие рвы, ловушки, чтобы - ни, ни, ни, ни один старатель не добрался больше до сокровищ, не осквернил, еще раз все не сжег. А меня это раздражало, злило, бесило, и очень хотелось проникнуть туда, ворваться, выпотрошить, взломать, все вывернуть наизнанку - где, где этот источник странного света, где? Надо было нырнуть, не захлебнуться, доплыть до сказочных водорослей, цветущих где-до глубоко под водяной толщей... Ведь что-то присутствовало и на поверхности, просачивалось наружу, вспыхивало, обжигая чем-то близким до боли. Я чувствовал: это не обман, не прихоть собственного воображения, что было то, ради чего стоило забросить работу, библиотеку, друзей, сидеть вечером в этой комнате, бродить с ней по театрам, подпольным выставкам, концертам, кабакам, искать нужный тон, звук, интонацию, играть в "тепло - холодно - горячо"... Да, разумеется, это была игра, великолепная, пьянящая, я наконец обрел достойного партнера, был восхищен и очарован, но в сознании время от времени мерцало: неужели она постепенно принимает это всерьез, забывает о том, что и я тоже играю, еще в большей степени, чем она, и начинает чувствовать себя волшебницей, которая властна над всеми. Мне нравилась ее усталость, что она самостоятельна, умна, искушена, в меру холодна и несентиментальна и что это не оборвалось в первые же вечера постелью, и что остается тайна, глубина, но неужели я вел свою роль так достоверно, был так опьянен, а потом покорен и как бы

побежден? Нет, ведь намеренно напоминал - есть правила игры, ты их прекрасно знаешь, о них нельзя совсем уж забывать, а ты переоцениваешь свою закрытость. "Сударыня, не кажется ли вам, что вы слишком самонадеянны?.." "Ах, нет сударь, не думаю - не более, чем вы..." "Я?.. Напротив - я сама неуверенность, а вы, мне кажется, слишком переоцениваете свои силы..." "Да? Неужели? Ах, как страшно... И чем мне это грозит?" "Не знаю, наверное, чем-то серьезным, разве вы ничего не боитесь?" "Чего же, интересно?.. Я даже не представляю..." "Ну, например, раб может стать господином, а госпожа - рабой..." "О, я была бы в восторге!.. Это так заманчиво - в жизни никогда не была в такой ситуации..."

Это длилось долго - этапы я опускаю: тепло, еще теплее, холодно, лед... снова тепло, теплее, еще теплее, жарко, горячо - и вот однажды струна натянулась, зазвенела и лопнула, осветив все мгновенной слепящей вспышкой - и мутный декабрь, и серое окно, и столик под оранжевым абажуром... Потом, когда вспышка растаяла, рассеялась ровным невидимым светом, в нем, как во сне, все стало значимо, весомо - и наши долгие прогулки, и серый городской снег, и чад подвальчиков, куда мы заходили греться, и кабацкий оркестрик, и крошки на скатерти, и уголок улицы с шатающейся тенью, затылком убегающего трамвая и опустевшей остановкой за мокрым слезящимся стеклом...

Но речь не об этом. Я опять уехал в сторону. Речь не о начале, а о конце, о том, что сновидения кончились, путь был давно пройден, сокровища собраны, и вот мы шли на мансарду к Плахову в том скверном ноябре, шли проходными дворами, низкорослыми

улочками и подворотнями с грязно-желтыми лампочками на потолке, а вокруг лежало пепелище - черные доски, бревна, столбы, дымящиеся руины, потемневшие дома с пустыми вытекшими глазницами, кран с повисшим на тросе круглым палачом, который завтра продолжит казни; шли и мимо домиков, уже разрушенных или предназначенных на слом, огибали мусор, лужи, корки битого кирпича, шли с поднятыми воротниками и наглухо запертыми душами, молчали или говорили Бог весть о чем. Вера рассказывала о делах в издательстве, о том, что с детскими переводами стало туго, как зарабатывать - неизвестно, что она серьезно устала и, наверное, выйдет замуж и уедет из старого города, а я пытался улыбаться и как бы равнодушно говорил, что этого не может быть, все не может кончиться так банально, а она, так же улыбаясь, равнодушно отвечала, что, тем не менее, видимо, так и кончится. Она уже ни в чем меня не обвиняла, не колола, не пыталась зацепить, а говорила, опустив голову, не глядя в мою сторону, словно себе самой.

Опять пошел дождь с мокрым снегом, зонтик выстрелил, раскрылся, лужи задрожали, снег пошел сильнее, падал на едва шипящие угли, на бревна и руины, тоскливо и страшно черневшие в полутьме. И было жутко, невыносимо, надо было что-то сделать, спасти, помочь, пасть на колени, просить прощения, все возродить, восстановить по камню, по кирпичику или возвратить все отобранное. Что было делать? Я не знал... Надо было остановиться, замереть и различить в спектре звучащих голосов единственный и главный - услышать его и все понять, исправить, разрешить. Но голосов было много - два... три... пять... квартет, квинтет, оркестрик с беспомощным дирижером, развал,

мучительная какофония...

Поэтому мы просто шли и молчали - как можно скорее хотелось добраться до мастерской, где раньше нам было так хорошо, взбежать, взлететь на седьмой этаж, в приют под облаками, словно там - у Димы - случится чудо и повторится то, что было когда-то. Дима на этот раз будет обязательно один, он обрадуется, поставит пластинку, нальет нам водки или чаю, мы согреемся, утонем в глубоких ветхих креслах, он будет говорить, показывать новые работы, кого-то хвалить, кого-то ругать, а мы будем слушать, сидя рядом, не видя друг друга, но чувствуя, как никогда, и будет дым, плывущий под косым потолком, и Димины холсты, и золото икон на стенах, и страшная грязь на полу, и легкое головокружение, и лунный серп, застрявший во фрамуге, и черное окно, парящее над миром, и снова светлый сон без края и конца...

Мансарда... С этим местом у меня было связано много, хотя это была довольно необычная связь. Не раз ноги поднимались по узкой крутой лестнице с чугунными перилами на последний этаж, спотыкались в темноте, шли наощупь по ступенькам, над которыми чаще всего не горело ни единой лампочки, шли наверх в поисках правды и света, входили в полупустые прохладные комнаты, взлетевшие из подземелья под крышу, обрезанные с внешней стороны косым осыпающимся потолком, с тазами и банными шайками, куда вода капала во время затяжных дождей.

...Врата отворялись, странник входил - и тут же, пока он топтался в передней, снимал пальто, разматывал шарф, стаскивал влажные башмаки, - Илья-пророк с поднятым к небу перстом на золотистом фоне

как бы давал понять, что все-таки Правда Есть! - пускай она оболгана, изгажена, извращена в покинутом Богом мире, крупицы ее бережно хранятся здесь, где все было особенным, своим - свой календарь, свои праздники и дни поминовения, своя точка отсчета, свои пророки, мученики и святые. Все, почитавшиеся там, в миру, тут становились ничем, и, напротив, ничего не значащее там тут могло оказаться всем. Любой успех был тут на большом подозрении, не говоря уже о благополучии - самом страшном из возможных грехов; преуспевающий слыл сыном дьявола, а человек при должности, ступенька иерархии - порождением ада. Так вот, любому изгою и бегуну здесь будут всегда рады, примут - как приняли Костю Бакунина, - разденут, согреют, нальют стаканчик, разговорят и выслушают... И тогда загудят басами голоса, польются рассказы, речи, истории, зазвенят граненые стопки, закружится в спорах волокнистый дым, уютно и мягко будет падать свет на хромоногий столик, на чашки и бутылки, картофельную шелуху, на пепел и пятна на драной скатерти, застучит дождь по крыше, за стеной в соседней комнате зацокают тазы, но заблестят уставшие и потухшие было глаза, просветлеют души и все исчезнет - и этот страшный мир, империя отчаяния и страха - все сгинет в ночи под ветрами и дождями, останется где-то там, внизу, далеко-далеко, вместе со своими щупальцами, лакеями и вождями. Тогда откроются границы, упадет колючая проволока, сгорят мундиры, городовые и чиновники, провалятся в Аид тюремщики и лагеря, земля сбросит железобетонный панцирь, порвет паутину рельсов и проводов, помолодеет, задымится свежими туманами, люди воскреснут и возродятся - останется только свет, радость

и свобода - свобода, свобода, свобода, без края, без начала и конца, - а тот мнимый мир будет отброшен, повергнут, побежден.

Однако утром, увы, он опять вернется, напомнит о себе невыносимой сухостью в гортани и гудящей головой, грозно застучит в дверь кулаком участкового, будет тыкать в морду жалобой от рассерженных соседей, а потом погонит вниз, по лестнице, в черноту беззвездных улиц, чтобы трепать всеми вьюгами и ветрами, хлестать по лицу мокрым ноябрьским снегом, мстить одинокой фигурке в мокром плаще, плетущейся по горькому асфальту с яичными желтками фонарей, нигде не принимать, никуда не пускать, захлопывать перед носом двери и окошки пивных ларьков, унижать безденежьем, гоготать сытым хохотом из окон мерзких кабаков, хлопать над головой флагами и гнусными транспарантами, обшаривать взглядами патрулей, пугать криками обезумевшей толпы и грохотом салюта, превращать в привидение, в ничто...

Так тут обстояло дело почти со всеми, в том числе и с хозяином - нашим гениальным Димой Плаховым, к которому мир был тоже немилосерден. Надо ли говорить, что Димина жизнь состояла из того, что либо все постоянно зарубали, закрывали, запрещали, его отовсюду вычеркивали, везде громили, либо просто не замечали, не удостаивали внимания... Одним из немногих триумфов можно назвать тот нашумевший случай, когда перед коллективной выставкой, пробитой с невероятным трудом, он вместе с другими был удостоен пространной статьи в местной газетенке с потрясающим заголовком "Живопись подонков", который сразу же удвоил и без того немалую очередь перед захудалым ДК на окраине. В самом деле, ну где это видано,

чтобы подонки собирались в кучу и выставляли вместе свои творения, - нигде больше такого не увидишь!

Однако как-то незаметно к тридцати семи годам понемногу кое-что набралось: появилась мастерская, несколько работ каким-то образом попали на выставку в Дюссельдорфе, появлялись оформительские заказы на совершенно фантастические суммы, которые, правда, почему-то уменьшались вдвое или втрое ко времени исполнения, так что денег едва хватало на выплату долгов (он неоднократно пытался объяснить, как это происходит, но я так ничего и не понял). Обычно день у него уходил не на работу, а на беготню, на пробивание стен и дверей, вечерами начиналось столпотворение на мансарде, а творчество происходило урывками, по ночам. Для полноты картины сюда следует добавить Димину одержимость, густо приперченную крутоватым нравом, нашу всеобщую любовь к быстрой езде и бесконечную путаницу с женщинами - все это изгибалось синусоидой из озарений, исступленной работы, падений, загулов, запоев, постов и покаяний, которая, как правило, приводила к регулярному плену больничной палаты.

Но зато это была Жизнь, пусть не совсем реальная, но такая, какой больше не было нигде. Жизнь в скиту, по ту сторону законов, под летними ливнями и осенними дождями, под метелями и сквозняками, под осыпающимся потолком, жизнь в чаду, дыму, в спорах, шепотах и криках под звяканье граненых стопок и колокольный звон, жизнь как сметание форм, как самосжигание, как кипение магмы, как рокот подпочвенных сил, жизнь в центре, нервном узле, где сходились все тропы, - здесь, в этих комнатах, через которые прошли толпы.

О, каких только чудес я не встречал за шесть лет! Здесь проводились чтения и семинары, устраивались выставки, рождались машинописные журналы, проносились вихрем отчаянные ниспровергатели, непримиримые творцы контркультуры в длинных балахонах с сумкой от противогаза через плечо, одержимые поэты, угрюмые гении и упрямые бегуны, взыскующие Нового града. От звучавших здесь речей качался пол и сотрясались стены - да что там стены, - сокрушались идолы и лживые кумиры, ворочались в гробах мертвецы, слетали мундиры, титулы и регалии, испуганно дрожала земля и рождались новые вселенные. Тут можно было встретить всех - от отца Михаила из Рождественской церкви до нашего Антона, пару раз поднимавшегося сюда со своими глобальными проектами, которые, правда, никакого тут успеха не имели...

Словом, скучать тут никогда не приходилось. Недаром Димин двоюродный брат, Петр Андреевич, он же - "Пуришкевич" (такова была его партийная кличка), человек, пользовавшийся здесь большим авторитетом, говорил мне не без гордости, что, несмотря на "60 лет вавилонского пленения, мы - живы и сломить супостатам нас так и не удалось..." Да, я едва не забыл о Пуришкевиче - еще одной уникальной личности с нелегкой, мучительной судьбой. В далеком прошлом - инженер, затем слушатель духовной академии, вступивший в конфликт с чиновниками от религии и не закончивший ее, а ныне седобородый патриарх лет пятидесяти, православный, убежденный монархист, а также заслуженный кочегар по совместительству, он имел тут немалое влияние (кстати, у него был уже сын девятнадцати лет, который также пошел по стопам отца - в котельную, так что в своем роде получа-

лась рабочая династия). Да, жизнь Петра Андреевича была суровой, не раз он попадал в тяжелый переплет - то как участник религиозного семинара, то в своем институте был подмят колесами определенного рода мафии, поднялся еле живой, перекошенный, приплюснутый, узкий, и теперь с гордостью, но без иронии, носил титул "Пуришкевича", писал в кочегарке статьи, изредка печатался под псевдонимом в парижских журналах, был абсолютно убежден в том, что "большевики неисправимы", и ни о чем другом более слышать не хотел... Ни, ни, ни - никаких отношений и компромиссов с н и м и и быть не может, уж лучше все что угодно - в лес, в подполье, подметать улицы или чистить выгребные ямы, чем служить Диаволу, иметь дело с Левиафаном...

Конечно, далеко не все тут придерживались столь радикальных взглядов, тот же Плахов, да и Константин, часто спорили с Петром Андреевичем, в частности, не разделяли его мысли по национальному вопросу, но в главном сходились все. Только я опять оказывался в двусмысленном положении, под перекрестным огнем со всех сторон, и если бы не Димины рекомендации, мне пришлось бы совсем туго, ибо, повторяю, ко всему тут относились по-своему.

Впрочем, надо признать, публика тут собиралась довольно пестрая - одно время мастерскую беспрерывно осаждали то бледные прыщавые мальчики, похожие на девочек, и стриженые девочки, похожие на мальчиков, то любопытствующие дамочки и просто всевозможные бездельники; Пуришкевичу приходилось даже отбиваться, выпроваживать, закрывать двери, чтобы не мешали брату работать. Но при этом

бывали и известные люди - заслуженные крамольники, смутьяны, изгнанники, борцы, ветераны подпольного движения - все в регалиях, заслугах: у кого пять лет, у кого ссылка, постоянные гонения и обыски, кто участник знаменитого скандала, кто прославлен статьей в "Фигаро", у кого книжка вышла в Париже... А у тебя - ничего: все серо, убого, бесцветно - защита, кафедра, студенты, статьи; так, мелкие стычки по здешним меркам, тяжбы с начальством, - смешно сказать, ну куда это годится? Потому и смотрели не то что с подозрением, а как-то настороженно: что за птица, кто такой? Вроде бы не "их", но и не наш, так, случайный гость, тень с альбомом в кресле в сумрачном углу.

Я приходил всегда непосредственно к Плахову. В Институте в то время надоело до тошноты, тем более Дима часто звонил, звал - приходи, предстоит нечто интересное, будут такие-то... И действительно, было интересно - забраться в угол, посмотреть, послушать разговоры, выпить, изредка ввязаться в спор. Правда, временами было жалко: ну хоть что-нибудь, чуть-чуть, самую малость, чтобы почувствовать себя своим, примкнуть, вписаться в сообщество, наконец, ощутить себя частью целого! Хоть бы крохотный скандальчик, конфликт, гонение, мелкая заметочка безработного журналиста, ну не в "Фигаро", а хотя бы в "Русской мысли" (и ему хлеб, и тебе слава), где промелькнет твоя фамилия, поднимет авторитет, престиж, придаст вес словам! И тогда можно будет пошить новый мундир, нет, скорее - рубище, униформу гонимого, и законно гордиться заработанными язвами, ожогами, шрамами, умело подставлять струпья и рубцы под щелчки фотокамер: смотрите, люди добрые, что со мной сделали, ироды?

Но бесполезно, ничего не выходит, рубцы слишком мелкие, незаметные - камера не берет. И что за судьба такая?! Нигде никакого продвижения по службе - если в Институте, согласно принятой типологии, мы попадали в диапазон между "подпавшими" и "махровыми", то тут нам с Дьяконовым (он со мной приходил сюда пару раз) тоже отводилось невысокое место - где-то между "подозрительными" и "конченными".

Однако не только на нас с Кириллом смотрели настороженно. Едва ли не для всех эти двери были открыты, но вот черных теософов с их эзотерическими фокусами в ковчеге явно недолюбливали. Я помню, как однажды на мансарду прибыла целая миссия из общины: полдюжины "посвященных" во главе с Орловским, причем не просто так, поболтать, а с серьезными целями, в качестве представителей экуменического движения - для объединения всех Церквей, всех людей духа, для противостояния погрязшему в материализме миру. В конце концов: отчего вековая вражда?.. Почему не начать диалога, ведь есть и общая платформа - все сходились в радикальном отрицании "антихристова лжеучения" (или, по другой терминологии, "зловонного материализма"), есть о чем побеседовать, что обсудить. Все началось замечательно, серьезно, чинно, солидно. Расселись за низким столиком, завели философские беседы о том о сем, о духе и плоти, Востоке и Западе, о судьбах России и грядущем освобождении: степенные речи, на удивление все друг друга слушают внимательно, никакой быстрой езды - благопристойность, даже некоторая скукота, как в каком-нибудь там Ватикане... Но постепенно, слово за слово, воздух стал накаляться, и один из миссионеров вдруг что-то ляпнул про "неудавшееся христианство".

А Орловский сдуру добавил, что, мол, "это религия мрака, страдания, креста"... И вообще, традиционные религии умирают, а мы берем из них все наиболее ценное для создания нового...

Ах, что тут началось! Да за такие бесовские речи Пуришкевич, человек суровый, мог тут же, без разговора, с лестницы спустить. Он не выносил дряблого толстовства, недаром его любимым философом был Ильин - автор книги "О сопротивлении злу силою", и считал, что добро теперь должно быть с кулаками. Так что хулителям попросту повезло: Петр Андреевич, похоже, растерялся от такой наглости, а то бы загромыхали по ступенькам с седьмого этажа... Тут Орловский вновь открыл было рот, но рассвирепевший Константин сразу же заткнул ему глотку куском из Солженицына. Он поперхнулся, но проглотил, а в ответ выстрелил цитатой Кришнамурти... И тут поднялся такой великолепный ор, такая буча, что, как говорится, ни в сказке сказать, ни пером описать!

Кони сорвались и понеслись вскачь, полетела птица-тройка, пошли стенка на стенку... Но, к счастью, до рукопашной дело не дошло, - в конце концов "посвященных" попросту выставили за дверь и поклялись, что больше с ними и рядом никогда не сядут! Как и прежде, особенно крепко схватились Орловский с Константином, такой взвился крик, что лучше не вмешиваться. Орловский обвинял рыжего, что "именно такие политизированные идиоты, как он, однажды уже довели Россию до катастрофы, но уроки впрок не пошли, и теперь принялись по новой!" "Неужели не ясно после всего, - шумел он, тряся черной бородой, - что сначала надо изменять душу, структуры сознания, а не общество!.. Вы, как слепые щенки, в сотый раз по-

вторяете старые ошибки... Очнитесь! Всмотритесь в себя!.. Вы сами продукт того, что отрицаете, - плоть от плоти системы, только с обратным знаком!.. Вы превращаете религию в идеологию, хуже того - в политику! Это для вас инструмент, чтобы их свергнуть, вам наплевать на Христа, вам все равно, что Бог, что дьявол, вы с кем угодно заключите союз!.. Да вы в три раза хуже последних большевиков, не приведи Господи оказаться под вашей властью!"

А Костя, сверкая всклокоченной огненной гривой и еле сдерживаясь, отвечал не без сарказма, что "ваше хваленое изменение сознания методом созерцания собственного пупка или белой стены не дорого стоит" и что "теософским онанизмом следует заниматься где-нибудь в Тибете или Гималаях, может, там что и выйдет, а тут это просто форма бегства - эскейпизм!.." "Да вы сами проснитесь! - срывался он. - Посмотрите вокруг, разуйте глаза! Вы думаете, что занимаетесь духовной работой, а на самом деле вас просто загнали в угол! А теперь к тому же вас покупают на корню - круглой печатью и помещением... Что, добились признания?! Какое счастье! Да я плевать хотел на их признание!.. Да, да, именно вы, мнящие себя свободными, на самом деле - слепы. И главное, вы дурите головы доверчивым людям: вместо того, чтобы пойти в церковь и помолиться, они занимаются у вас там всякой чепухой!.."

И гремели голоса, клубился дым, испуганно дрожали чашки на столе. А я сидел в своем кресле в углу, невыслушанный, забытый, и думал - что за странные люди: черный и рыжий? Как только увидят друг друга, тотчас ощетиниваются кулаками, как крепости. Причем, думается, дело было не во взгля-

дах, не в различии конфессий, сталкивалось что-то глубинное, чуть ли не физиологическое: чем более разумную мысль говорил один, тем больше она бесила другого. Я знал их достаточно давно, они во всем различались, будучи похожи в одном: в духовной нетрезвости, в постоянном опьянении идеями. Видимо, поэтому иногда все выглядело так, словно существование одного уже оскорбляло другого, давило и посягало на его личность.

После ухода делегации Константин долго не мог успокоиться и все добивал противника, уже разливая бутылку по стопкам. "Х-хе, тоже мне, сказал, что мы хуже большевиков, - мотал он головой. - Посидел бы, так узнал, что хуже их вообще ничего быть не может!.."

Случившееся всеми долго обсуждалось и почему-то было единодушно решено, что один из дорогих гостей, наверняка, подосланный стукач (?!). Я попытался возразить: мол, с чего вы взяли? Но Костя с таким недоверием посмотрел на меня, что лучше было замолкнуть... "Тем более, я заметил, - развивал тему Плахов, - какой-то странный хмырь третий день вертится во дворе..."

Потом еще долго пили и спорили, и ругались, снова пили и говорили, крушили, - и мечтали, мечтали, мечтали... Но что-то по-прежнему давило, и это "что-то" было никак не сбросить, не освободиться, не разогнуться - все сдвинуто, сдавлено, перекошено, как будто за столом сидели калеки, юродивые, блаженные, а их отражения вопили и распадались на Диминых холстах; все выворачивалось, выплескивалось наружу, вываливалось на стол, на головы собеседников, на консервные банки, полные окурков, на рыбные

ошметки, кости, чешую, на руины и развалины - пейзаж после битвы, - выбрасывалось все: и злость, и сарказм, и боль, и чернота, и мука, и праведный гнев, но только не было свободы - она почему-то вновь ускользала, выпархивала ночной бабочкой из рук, металась под потолком, под лампочкой, под абажуром, стучалась в пыльное стекло и исчезала в открытой фрамуге.

Часам к трем все разошлись - легли спать или отправились по домам. Только мы втроем с Димой и Пуришкевичем продолжали пить, потом Дима не выдержал, заснул; мы остались вдвоем - нагрузились до безобразия, договорились черт знает до чего, а под утро Петр Андреевич устроил мне форменный допрос - "како веруеши", который происходил приблизительно так:

"Ты с-скажи мне, поч-чему всю дорогу молчишь?.. Кто ты таков? - выпытывал он, - не пойму... Н-наш ты или чужой? Ты зак.. за кого, за нас или за них?.." "За к-кого, за них?" - отвечал я, покачиваясь, едва ворочающимся языком. "Ну, за этих вот, - махнул головой, - к-козлов!.." "Нет, не за них..." "Значит, за нас?.." "Н-нет, не за вас..." "Так за кого? А-а, значит, ты за б'льш-ш-ше-виков?!" "Н-нет", - решительно отрицал я. "За кого же?.." "Ни за кого, я с-сам по себе..." "Так не бывает..." "Бывает!.." "Нет, не бывает!.." "Бывает!.." Долгая пауза, раздумье, а затем - приговор: "Ну тогда, значит, ты - нуль, никто!.." "Н-нет, - возмущался я, - я... я - кто!" "Неважно, значит, своего у тебя все равно ничего нет!.." "Есть!.. У меня все есть!.." "Не в-вижу... Вот смотрю на другого - вижу: вот - к-католик, вот - иудей, вот - масон, прости Господи, а ты темный человек, неясный... Ты мне с-скажи,

что у тебя есть? Во что веруешь, ч-чему поклоняешься?.."

В ответ я начинал бормотать что-то длинное, невразумительное, интеллигентское - "с одной стороны", да "с другой стороны", да "как посмотреть", "с какой стороны"... "Нет, не увиливай, - он неудовлетворенно качал головой, - ты скользкий, как угорь! Какова твоя вера? Моя вера - вот!.." Я опять пускался в длинные сбивчивые рассуждения о том, что теперь значит слово "Бог", и что его смысл весьма далек от первоначального из-за употреблений всуе, и что вера - это дело глубоко интимное, внутреннее и страшно сложное... А он по-прежнему пытал меня, прижимал к стене, мне доставалось то за "отсутствие программы", то за пристрастие к "поганому масонскому чернокнижию"...

Так сидели напротив друг друга под конусом задымленного света, над разоренным застольем, пили чай, постепенно трезвея к утру. Я смертельно устал, и он говорил, говорил о том, что так не может продолжаться вечно, это должно когда-нибудь кончиться, исчезнуть как страшный сон, а на могиле надо поставить памятник великому эксперименту - огромный, чтобы все помнили, как не нужно делать. И открывался влажный рот, тряслась седая борода, усыпанная крошками, сверкали потные залысины, краснели воспаленные белки, а внутри что-то ворочалось тяжелое, глухое, и душа стонала, ждала, требовала финала, завершения этого мрака, начала - другого бытия. Он вспоминал свою жизнь, рассказывал про свою работу, семинарию, конфликты, про тяжелые колеса, под которые он попадал, про гонения, угрозы, слежку, нищету, одиночество, мрак, про то, как два года не давали

устроиться на работу и одновременно угрожали посадить за тунеядство, - и сквозь напряжение, агрессию, непроницаемость прорывалось что-то другое - измученное, теплое, жалостливое. И он, такой далекий, искореженный, суровый - внешне похожий на батюшку из Рождественской церкви, менялся на глазах, оживал, преображался: я начинал понимать его правду, но у меня была своя.

Дима Плахов был во многом другим, непохожим на двоюродного брата. Непохожим хотя бы внешне: борода - короткая, жесткая, колючая, фигура - худая, сутулая, левая нога слегка волочится по полу (последствия детской травмы), лицо - болезненное, бледное, блуждающий, невидящий взгляд. Словом, все другое - и внутреннее устройство, и характер, и темперамент, похожей была судьба - бунтаря, смутьяна, подпольщика. А вокруг - всегда шум, возмущение, баталии. Так уж изначально повелось: стоит куда-нибудь вылезти, пробить две-три картины на выставку, тотчас же буря, скандал - немедленно снять! - а потом санкции, запреты. Долгое время он мне (да и не только мне) таким и казался: едва ли не мучеником, страдальцем, вечно несчастным, задавленным. В самом деле, отовсюду, начиная с властей, кончая придирчивыми коллегами, сплошное неприятие, подозрительность. Но вот что удивительно: чем больше было неприятия и поношений, тем больше всего и прибывало - с противоположной стороны. Как-то понемногу расширялся "узкий круг" друзей, почитателей, поклонниц, всегда готовых помочь, поддержать, пожалеть. Или сразу же, после очередного скандала, с небес слетали утешители - богатые ангелы, меценаты: на мансарду взбирались пузатые немцы, голландцы, долговязые

датчане, пыхтели, смотрели, восхищались, долго выбирали, свертывали, паковали и увозили в свои далекие особняки. Нельзя сказать, что Дима всему этому активно подыгрывал, тянул одеяло на себя: похоже, так выходило само собой, спонтанно. Я не мог до конца понять, почему всегда так удачно получалось: не то чтобы он был особенно хитер, все заранее просчитывал, нет, напротив, часто срывался, запивал, куролесил - все как полагается. Скорее всего, он давно привык к этой роли в спектакле, в которую его втянули когда-то давно, выйти из нее было очень трудно. Да, впрочем, зачем выходить? Эта роль ему хоть немножко, да нравилась - ведь так приятно быть непринятым, непонятым, несчастным, вечным изгоем, вызывающим лихорадку у властей и споры среди собратьев. В душе - свобода, на плечах - хламида: не то длинный плащ, не то шинель неопределенного цвета, на ногах - солдатские башмаки, на голове - мятая шляпа, полный комплект, униформа.

Причем Дима не только отрицал какие-либо сознательные стремления со своей стороны, напротив, говорил мне, что ему смертельно надоели скандалы и конфликты, он хочет спокойно работать, а его, как назло, затягивают в эти игры с обеих сторон: да, он грешен, но только в том, что не в силах противостоять... Не знаю, насколько он был искренен, но в последнее время только об этом и твердит. Непонимание становилось главной Диминой темой, хотя, на первый взгляд, он страдал от него значительно меньше, чем другие.

Да, да, да, согласен, твердил он, все они хорошие люди, помогают там и прочее, но в большинстве своем они не способны понять его по-настоящему: хвалят у

него то, что плохо, и ругают то, что хорошо, - им нужны внешние эффекты, и он даже начинает чувствовать себя здесь чужим... "Ты-то хоть меня понимаешь, я надеюсь?" - спрашивал он, упирая в меня свой мутноватый невидящий взгляд. Я усердно и многозначительно кивал головой, думая при этом о том, что всегда удивляло: люди всю жизнь мучаются от того, что их не понимают, но почему-то никто не мучается, что не понимает других...

Я сидел в любимом кресле, а Плахов расхаживал передо мной в дымном мареве, прихрамывая, волоча левую ногу, худой, небритый, страшный, со щетиной, доросшей до провалившихся глаз, в сальной замшевой безрукавке, размахивая руками, отбрасывая длинные ломаные тени, тыкал в холсты на стене, что-то объяснял, жутко сквернословил, наливал в стопки дрожащими пальцами, пил, морщился, натыкал на вилку что-то склизкое, непотребное, проглатывал и вновь говорил, говорил, говорил об опутавшей его паутине, о брате, который из-за своей прямолинейной догматичности не в состоянии его понять, о проклятых бабах, без которых, к несчастью, нельзя, а то сколько можно было б успеть! О том, что его неостановимо несет куда-то, как на чертовом колесе, об ублюдках из живописной секции "союза", о каком-то паразите Альтшулере, о муках и грехах, о распрях с Создателем, о том, что получается всегда совсем не то, что хочешь о невыносимом безденежье, о боли, бессилии, пустоте и много, много о чем еще... "Я" здесь царствовало безраздельно и властно - невозможно спорить, возражать, собеседника нет, диалог невозможен, предо мной только впадины кричащих гибнущих глаз - внутри что-то металось, стонало, дробилось,

поднималось со дна, раздирая его высохшую оболочку, и казалось, вот-вот она вздуется, лопнет, взорвется, магма с ревом выплеснется из жерла, затопит и меня, и его, и мансарду, и все вокруг.

Но она опять не лопалась, а просто угасала, медленно, бессильно, все заканчивалось жалобами, претензиями, мечтами, очередным приступом вековечной хандры, толстовской заразой: все бросить, уехать, сбежать, сбежать, сбежать (прежде его мысли устремлялись в Париж, но с годами столица мира постепенно отпала), к тетке в деревню у Белого озера - у нее огромный дом, она стара и одинока... Да, да, безусловно, я понимаю: зеркальная гладь, домик на берегу, лопата, сад, огород, деревушка, заповедник или провинциальный городок с цветущими яблонями, палисадниками, подсолнухами, старушками на ветхих скамейках, где все упростится, станет ясным, светлым, "назад к природе", "к земле", там все пройдет, боль утихнет, душа очистится, мы оживем, услышим голоса ангелов, "увидим небо в алмазах", ну и так далее, и тому подобное...

Я опять увлекся, воскрешая очередной мираж. Пора все же вспомнить, как мы с Верой шли в ноябрьской тьме то под дождем, то под мокрым снегом, пробирались сквозь паутину улочек, дворов и переулков, как наши шаги в подворотнях бежали с нами вдоль стен, разбегались в стороны, вырываясь на пустое пространство, чтобы снова вместе с нами нырнуть в следующий темный проход. Да, похоже, все было кончено - та далекая вспышка давно погасла, свет рассеялся, звезды потухли, и мы шли в немилосердной мгле, все было выжжено как внутри, так и снаружи,

спотыкались, поддерживали друг друга - как будто победитель и как будто побежденная. Но и победителю было тяжело, он чувствовал вину, и вместе с тем - приятно, упоительно, тревожно: такое сладкое, постыдное удовольствие - как, оказывается, приятно чувствовать себя потрошителем после победы в равной борьбе... Но, естественно, все это отгонялось прочь - так нехорошо, подальше, подальше, но все равно возвращалось, просачивалось, обескураживало, смешивалось на поверхности с виной, горечью, гордыней и томлением, все запутывало, сплетало невыносимым удушающим узлом, а время тянулось нескончаемо долго и казалось, что эти черные сапожки и бурые ботинки с соляными разводами теперь так и обречены идти, идти, идти, никуда не приходя и ничего не достигая...

И потому как можно скорее хотелось добраться до мастерской, взбежать, вскарабкаться на последний этаж... Вот, наконец, парадная дверь, скрежещущая о ступеньку, темнота, кошачья вонь из подвала, лампочка горит лишь на третьем этаже, крутые ступеньки, чугунный холод в левой руке, второй этаж... четвертый... пятый... тут что-то взвизгнуло, метнулось под ногами и с шумом понеслось вниз: "Боже, как я испугалась!" Тяжелый выдох, полуминутная остановка, затем вновь шарканье подошв, шестой этаж, и вот седьмой... Ничего не видно: я чиркнул спичкой, но она тут же погасла. Чиркнул снова - слабый дрожащий огонек; протянул палец к звонку... На облупленной двери - замок, старый, медный, плаховский, с фамилией мастера: "Петръ Шарыгинъ"... Что за черт?! На замке - пломба, дверь опечатана, и было такое чувство, что больше не откроется никогда.

VII

Бр-р, кошмар, голова распухла - кажется, вот-вот что-то треснет, рассыплется и все выльется и растечется... Да - нет, нет - да, нет - нет, да - нет - маятник работает неутомимо. Но что за невыносимый зуд, чесотка сознания! Внутри все гудит, ворочается, сталкивается, кричит и стонет: мысль мечется бильярдным шаром, отскакивая от борта к борту... И вот опять началась ночная охота: пытаешься поймать, накрыть ее случайной фразой, прижать к зеленому сукну, отправить в лузу, но ничего не выходит - очередной бриколаж, и она ускользает... Поэтому долго выбираешь, вертишь, примериваешь слово, как башмак: нет, вновь не лезет, не годится, жмет. И, устав, трясешь набухшей головой, чтобы еще раз все взлетело, перевернулось и каким-то чудом улеглось, успокоилось, замолкло... Бесполезно, ничего не выходит! Что же делать? Снова встать с омерзительным скрипом из-за стола, бросить свой трактат об утопии, пойти на кухню, поставить чайник на плиту, ходить по комнатам, по коридору?.. Который час?.. Да, ночь катится под откос - совсем светло... Нет, лучше упасть навзничь на тахту, завернуться в умирающие сумерки и лежать в полупрозрачной скорлупе, слыша, как стучит сердце. И постепенно оно исчезает, зуд слабеет, шары теряют скорость, потихоньку останавливаются: тише... тише... еще тише - сейчас все замолкнет, задремлет, уснет... Но тут - ба-бах! На грани небытия внезапный скрежет, сдвиг, замыкание... вспышка!.. Сумерки слетают вместе с одеялом, ноги нащупывают тапки, не попадают, путаются, бегут; голову под кран, быстрее, быстрее - бегом к столу: шлюзы открылись, мутноватым паво-

ком хлынули слова - только успевай фиксировать, строчить... Однако плаванье длится недолго - мотор захлебывается, фырчит, останавливается: и вновь кирка, заступ, пыль, пот, черепки, обломки, таблички, таинственные письмена - Сизиф тяжело вздохнул, согнулся и потащил в гору свой камень...

Но и это занятие быстро надоело - бросил, встал, заходил по комнате - колеса по-прежнему крутятся на холостом ходу, - нужны слушатели, собеседники, но где их взять?.. И тут же, со взмахом волшебной палочки, в темных углах, кладовках, комнатах стали воскресать лунные тени, заклинаниями вызванные из небытия, они двигались, плыли навстречу, все те, к кому были обращены мои слова, все друзья, подруги, оппоненты, собеседники. Теперь я был тут полновластным хозяином и творил с ними все, что хотел: поучал, громил, спорил с одним, другим, третьим, выпуская своих засидевшихся бесов, мстил за то прежнее вежливое согласие, далеко небескорыстное понимание, вынужденное молчание...

О, что вы творите, безумцы! Пора давно понять, что двери не открываются ни старыми, ни новыми ключами, и вообще таких ключей нет, времена универсальных отмычек кончились, эти двери не открыть никогда, они заперты навечно, туда не въехать ни на каких санях, их можно только обойти тяжелыми, гибельно длинными путями - если, впрочем, это вообще возможно. Клио не терпела и никогда не потерпит нашей самонадеянности, она посмеется и посрамит все проекты и утопии, все спасительные учения, но особенно жестоко она отомстит тем, кто поднимет руку и в очередной раз попытается взнуздать и одеть на нее хомут; она будет всегда над нами, а мы под ней, мы

обреченый принять это бремя, существовать здесь и теперь - "в проклятом настоящем", нести его до Конца, до тех пор, когда "грядущий огонь все обоймет и всех рассудит"...

И мудрец все объяснял, вещал, доказывал, не замечая, не слыша и не видя ничего вокруг, а когда, наконец, оглядывался, то выяснялось, что он - один; слушателям стало скучно, тени незаметно разбежались - потихоньку, чтобы не обижать оратора, - отправились по своим делам, и он давно говорит и внушает это самому себе, своему двойнику в пыльном, тусклом, рассеченном зеркале, - такому упрямому, самонадеянному, безумному, по-прежнему подбирающему отмычку к злополучным вратам и почему-то упорно не желающему жить "здесь и теперь", "в проклятом настоящем".

Да, я выдаю себя: ночное сознание проговаривается. Только благополучное, дневное в состоянии благодарить Клио, понимая, как и должно профессионалу, что дальше будет еще "хуже" и наши потомки - так почему-то повелось испокон веков - будут вновь странным образом завидовать нам. Все проговариваются - даже Дьяконов, днем - правоверный гегельянец, апостол жестокой музы, по ночам тоже не выдерживал. У него в дневнике я обнаруживаю пространную цитату из лагерных писем Флоренского (1936 г.) со ссылкой на Шеллинга, около которой стоят три восклицательных знака, что, видимо, свидетельствует о полном согласии: "Шеллинг в своей "Философии мифологии" устанавливает различие понятий Geschichte и Historie. Geschichte - это просто бывание, последовательность событий, не направленных в определенную сторону и потому не дающих восприятия времени в

собственном смысле слова. Тогда как Historie определяется последовательностью событий, развертывающих некоторый имманентный замысел, идею. Так вот, я живу в Geschichte, в доисторическом времени, и об Истории мне даже неприятно думать.

Идиотизм (от греч. idioteia), идиот в древнем смысле слова - вовсе не слабоумный, а частный человек, не участвующий в исторической жизни, живущий в себе, вне связи с обществом. Быть идиотом - это, пожалуй, наилучший удел, особенно если бы можно было идиотствовать до конца, то есть сделаться полным идиотом".

Но это с одной стороны. А с другой, - через несколько страниц - я нахожу у Кирилла его собственный пассаж, который свидетельствует о том, что "идиота" на его пути подстерегают опасности совсем иного рода: "Всю жизнь погружаешься в себя, идешь вглубь, что-то достаешь, но почти всегда при самых богатых открытиях, при, казалось бы, предельно точном попадании задним числом возникает смутное, труднопередаваемое ощущение, что все это нечто н е т о, точнее - не совсем т о. Но т. к., что такое "то", определить невозможно, к нему не свести весь хаос, его не поймать, сколько ни лови, с годами на него машешь рукой, бросаешь бессмысленное занятие, оно так и остается бродить где-то на дне. Временами, изредка, оно просачивается наружу, приобретая постепенно все большую отрицательную значимость, тем не менее столь же неуловимую - не более, чем оттенок двусмысленности, легкой мути, как у фотоаппарата со сбитым фокусным расстоянием. Так, понемногу, этот сдвиг усиливается, кислоты накапливаются, и рано

или поздно должен, похоже, наступить тот день, когда они могут вскипеть и разрушить изнутри".

Или, вот, другое, в том же духе: "Себя не опознать, никак не идентифицировать - для этого нужны видимые отражения или пограничные ситуации. А их нет, но когда они приближаются, то боишься, стараешься их обойти, по-прежнему пытаясь научиться плавать на суше. И хотя голос кричит - "да прыгни же ты, наконец, с головой" - все равно боишься. Настолько ко всему привыкаешь, что любое резкое смещение кажется опасным. Начинаешь думать: почему? Рефлексия на тему страха. Потом думаю - почему и как я думаю о страхе. Еще один виток рефлексии, потом еще раз и еще. Рефлексия как бесконечная спираль, как лента Мебиуса, как безвыходный путь. Жизни нет, она расчленяется и исчезает. Отсюда можно было вывести нехитрую мораль, но как объяснить, что это и есть моя жизнь, мой Бог, мой свет, моя отрава.

Например, все начинается банально: я хочу е ё. Но это невозможно. Нельзя. Запрет. Рефлексия по поводу запрета. Невроз. Тема для психоанализа. Рефлексия о психоанализе. Рефлексия над рефлексией о запрете и психоанализе и т. д., и т. п. Нужен прорыв, но его нет. И еще один виток рефлексии о прорыве, которого нет".

Семнадцатого декабря, в день рождения Оли, которое мы не отмечали, уезжал Антон со своей матушкой. Зеленый фургон приехал поздно, в пятом часу - я только что вернулся из Института. Вещей оказалось много, пришлось помогать, таскать тюки, авоськи, мелочь и, конечно, священные книги из алтаря, собрание античных классиков, упакованное с такой тща-

тельностью, что его спокойно можно было опускать в воду.

День был солнечный, с легким морозцем, к вечеру, правда, пошел снег. Нетрудно представить состояние Антона: он просто летал по коридору, руководил погрузкой, ругался с грузчиками, успевая при этом рассказывать о радостях будущей жизни...

Фургон уехал где-то в районе шести, прощание было на редкость трогательным. Матушка прослезилась, Антон обещал мне непременно писать. А в начале седьмого - забавное совпадение - в нашу дверь раздался стук. Да, да, войдите... На пороге появился сияющий Ипполит - другое прилагательное никак не подходит - в своем перештопанном овчинном тулупе, держа в одной руке шапку, а в другой - что-то свернутое и смятое... Я сразу догадался, что это был долгожданный билет, пропуск в обетованную землю, который он получил, наконец, в семьдесят шесть лет. Его лысая отполированная голова блестела, губы вытягивались и что-то бормотали - казалось, он вот-вот расплачется. Ноги сделали два шага вперед, покачнулись, и овчинный тулуп вместе с лысой головой стал медленно оседать на стул у двери, шапка выпала, рука зашарила где-то в области сердца, рот судорожно приоткрылся... Ольга вскочила с дивана и бросилась в другую комнату за валидолом, а я успел поддержать старика, чтобы он не свалился со стула. Было несколько неприятных минут, но, к счастью, Ипполит довольно быстро ожил. Мы напоили его чаем, отвели к нему, уложили спать, и вскоре за стеной раздался легкий храп с присвистыванием...

А в это время, как писали в немом кино, в Институте после того, как бедный Левин бесследно растаял

в небытии, все как будто затихло, но, вместе с тем, стали происходить довольно странные вещи. Согласно принятой традиции, я, как и некоторые другие, имел честь состоять во множестве различных комиссий, комитетов, советов (точнее, эта честь принадлежала моей фамилии, титулу и должности, я же об этих организациях имел довольно смутное представление). Мою фамилию можно было увидеть на разных этажах на стендах, вывесках и дверях, что в целом придавало ей солидность и значительность, - Дьяконов, например, как более крупная фигура, обладал большей степенью свободы и был избавлен от некоторых повинностей подобного рода. Так вот, где-то в середине декабря я внезапно обнаружил, что моя фамилия вместе с титулом и должностью стала постепенно и с ч е з а т ь - по крайней мере на двух стендах ее уже не было... И хотя это было вполне объяснимо и к тому же освобождало от бесполезной траты времени, все равно подействовало как-то неприятно. Поэтому, столкнувшись однажды в кафе с Мотыльком, я спросил у него как у руководителя одной из комиссий - так, между прочим, - в чем, собственно, дело? Он сначала невозмутимо ответил, что это обычная вещь, составы периодически избираются заново, вводятся новые люди, вот и все, сам знаешь... "Да, неужели?" - переспросил я с сильным недоверием. И так как ситуация была очевидной, играть в прятки - глупо, он решил приоткрыть карты: "Впрочем, ты сам, наверное, догадываешься, почему?" Да, догадываюсь, ответил я, но, в сущности, это меня мало волнует... "Зря, зря, а то может так произойти, - он сделал многозначительную паузу, - что твоя фамилия исчезнет совсем, отовсюду, понимаешь?" И вновь помолчав, добавил с лукавой

усмешкой и интонацией мафиози из надоевших фильмов: "Но у тебя еще есть время подумать, сделать выбор, так что смотри..."

Легкий страх ледяной змейкой проскользнул по позвоночнику, и разговор на этом закончился: я улыбнулся и обещал подумать.

Примерно в те же дни состоялась беседа и с зав. кафедрой - Десницким. Наш мудрый старик - ко мне он относился очень хорошо - начал издалека, с воспоминаний о сороковых годах, об идейной бойне, рассказывал, чем для него это кончилось и какие уроки он навсегда извлек. Затем перешел к современности, стал объяснять, что ситуация серьезная, ему известно, что т а м сильно радражены... А кроме того, я вам не раз говорил - не нужно дразнить гусей на лекциях, ну что за мальчишество, честное слово! Сами знаете, чем это кончается, так что лучше всего пока не поздно пойти на прием, поговорить, объясниться спокойно, без эмоций, ну, уступить чуть-чуть, может, признать ошибочку, а то дело примет крутой оборот...

Я, по обыкновению, не возражал, кивал головой, соглашался - да-да, наверное, вы правы, я подумаю, скорее всего так и нужно поступить... Черт! Действительно, теперь я думаю - ведь все могло повернуться по-иному! Ну, в самом деле, что стоило пойти на прием к Властителю дум (вернее, подослать двойника), поговорить с нашим магом, прикинуться, как всегда, дурачком, объясниться: так, мол, и так, ваше превосходительство, бес попутал, с кем не бывает? А самому посмеяться, понаблюдать за всем со стороны, с птичьего полета. И все бы изменилось: один-два ритуальных жеста - и фамилия перестала бы исчезать таинственным образом, и странный "студент" не посе-

щал бы больше лекций, и пропал бы страх, и вообще был бы я теперь живым полнокровным человеком.

Так нет же, урод, встал в позу, уперся - руки в боки, как пылкий непреклонный вьюнош, как цельный персонаж из возвышенной литературы, - ни в какую. Ведь сам же всегда соглашался с Дьяконовым - главное, надо работать, иметь такую возможность, ради этого следует пойти на все, что весь прошлый век и полетел к дьяволу у нас из-за такой вот дурацкой позы, возвращения всяческих билетов, из-за чрезмерной любви к "свободе", "правде-истине" и "правде-справедливости" и прочим фикциям из воспаленного сознания. И вот сейчас, отсюда, глядя на все другими глазами, раскапывая, расчленяя ткань, рассматривая кусочки под микроскопом, я спрашиваю: что это, почему? И до конца не знаю, не могу понять.

Одно теперь очевидно: момент был р о к о в о й. Я попадал в клещи, в "большую вилку", жернова сближались, вращаясь в противоположных направлениях, чтобы сойтись вплотную, перемолоть и выбросить прах. Тогда, пожалуй, было лишь предчувствие - ощущение призрачности, невесомости, привкус сна, время от времени возникавший где-то под языком... Поэтому естественно, что я ничего не мог предвидеть и в тот декабрьский вечер, когда после целого дня беготни в Институте, невыносимо уставший, я вышел на улицу и в густом снегопаде решил дойти до кофейни, толком не зная, зачем - скорее всего, чтобы узнать что-либо о Диме Плахове и мансарде. Час был поздний, перед самым закрытием, в подвальчике было пусто, публика разошлась, старушка мыла пол, и у кофеварки стояло всего два человека. Нащупывая мелочь в кармане и размышляя, что еще взять, кроме

кофе, - полоску или пирожок, я в углу за столиком вдруг увидел рыжего... Он сидел с крайне мрачным видом - невидящий взгляд, глаза устремлены в точку, перед пустой чашкой, в полном одиночестве... Что с ним тогда происходило? Я мог лишь догадываться. С тех пор, как мы повздорили, разговаривали мало: так, перебрасывались новостями при случайных встречах, в основном у Плахова в мастерской. Костя перестал мне доверять (как и некоторым другим), а я и не старался вновь завоевать его доверие. Так или иначе, чувствовалось - с ним происходит нечто скверное. Даже издали было заметно, как увеличивался перекос, сильнее проступало все тяжелое, искореженное, нетерпимое - оно сгущалось в отрицательную энергию с сильной примесью злости, выбрасывалось в мир, билось о стены, отскакивало, бумерангом возвращалось назад, все больнее ранило его самого, сужало, ослепляло, все глубже загоняло в безвыходное подполье...

И вот я смотрел на него, на рыжие чуть вьющиеся волосы, на красноватое пятнистое лицо с остановившимся взглядом, думал, выкладывая мелочь на тарелку, беря щипчиками сахар и опуская в пенистую черноту, шел с портфелем и чашкой на тарелке к его столику, чтобы расспросить о мансарде, о том, куда девался Плахов, и вообще, что произошло...

Когда я подсел, поздоровался, Константин вздрогнул, очнулся (только тут я увидел, что он пьян) и взглянул так расширившимися зрачками, словно к нему подсела сама нечистая сила. Я спросил: что с Димой, где он, отобрали мастерскую? Зрачки еще больше расширились - кажется, он даже несколько растерялся, ибо молчал секунд пять. Потом переспросил с ошарашивающей злобой: "Что с Димой, гово-

ришь?! Ну, ты даешь! Ты далеко пойдешь с такими способностями... "Что с Димой!" Это тебе лучше знать!.."

Лишь сейчас все стало ясно: маленькие подозрения в конце концов привели к одному большому... "Ты что, совсем спятил?! - чуть ли не закричал я. - Очнись, идиот, что ты мелешь?!" Но он смотрел со злорадным удовлетворением: "Я не спятил, не надо... Лучше скажи, как все-таки они тебя..." "Ты сошел с ума, ты понимаешь это? Лучше объясни, что произошло, наконец?!" "Только не надо, не надо, - мотал он рыжей головой, - я сам читал твое заявление, мне они позволили прочитать..." "Что-о? Какое заявле... А-а, ты что, не знаешь их методы? Как они работают? В первый раз там, да? Вас что, всех таскали, объясни?!.." "Не надо, - бубнил он, - я знаю твою подпись, во сне различу..." "Какая подпись?! Иди проспись, идиот!.." "Но кто же тогда, кто?" - он все-таки засомневался. "А вот это уж я не знаю - кто!.."

Разговаривать было бесполезно - я неудачно вскочил, зацепив столик, чашка хлопнулась, оросив черной частью стола и мои брюки, схватил портфель, вышел, гулко ухнула дверь...

Во второй половине дня откуда-то прилетел ветер, разогнал декабрьский мороз и обрушил на город снежную бурю. К вечеру завьюжила, завертелась пурга. Понеслись белые вихри, поднимая вверх слегка припорошенные горки листьев, вылизывая черные залысины на асфальте, свирепо завывая в подворотнях, двориках и тупиках: мир словно взбесился, готовясь окончательно сойти с ума. Я брел домой с мокрым от кофе коленом, к которому липла снежная пыль, и, как это ни смешно, нелепым унизительным ярлыком. Ка-

жется, я заболевал, все тело ломало, слабость была жуткой; ноги едва доплелись до дверей - Оли не было дома, а Ипполит за стенкой разговаривал сам с собой, - хрустнул замок, руки стащили заснеженное пальто, затем ботинки, колени бессильно подкосились и уронили тело на тахту.

Странное дело, насколько я помню, у меня всегда все начиналось с отталкивания, неприятия, протеста. Чтобы сформулировать и выразить нечто, надо было оттолкнуться от чего-то, отринуть, не признать. Как только мне начинали внушать, что все может быть только так, а не иначе, ничего другого нет - это дано от Бога, навсегда, - как бы мне ни нравилось содержание, я уже чувствовал, что не вынесу его долго, рано или поздно оттолкнусь, поплыву к другому берегу, где, я знаю, тоже не останусь навечно. Мир не завершен, он всегда в становлении, он рождается и создается, как создаюсь и рождаюсь я, и потому все ставшее и завершенное невозможно до конца принять, на нем нельзя остановиться, ибо оно всегда конечно, исчерпаемо. И пускай вся земля давно освоена, поделена, расписана на участки и наделы, они еще есть - тающие ничейные промежутки, стыки, щели, где можно удержаться, качаясь на одной ноге, пройти по жердочке над бездной, между светом и тьмой, Ормуздом и Ариманом, под перекрестным обстрелом, под напряжением противостоящих полюсов, можно пронести, не споткнуться, не упасть... Можно ли?

Тут - жесткость, устойчивость, иерархия, регламент, все разложено - никаких существенных отклонений; тут еще что-то утверждается и создается, но мгновенно вырождается, умирает, разлагается с трупным запахом, тут мертвая традиция, как восковая

старческая рука, все околдовывает, иссушает, превращая в фикции, миражи, фантомы - мир, в котором ничего не различить. А там - кипение, взрыв, разрушение, мечтания, безбрежный утопизм, упоение своеволием, раскованность, дробление, хаос; опьянение мнимой свободой, куда-то летящей в завьюженой тьме, сгибающейся, не выдерживающей своей тяжести, и в конце концов тонущей в собственной блевотине... И все рядом, неразделимо: одно не приемлет другое, но и не может без него существовать, привязано накрепко и, похоже, навечно; все различно, но в глубине - близко, а в пределе - тождественно, выражается почти теми же словами, на одном и том же языке. Ничего иного практически нет, никаких промежуточных ступеней - так, редкие исключения. Всех рано или поздно сносит к тому или иному полюсу. И не понять, что следствие, а что причина, но понять все же надо, надо начинать все заново, с абсолютного нуля, пустоты, отчаяния; надо убирать себя, свои отличительные знаки и наклонности, учиться различать, учиться видеть и внимать, обретать стереоскопическое зрение, проникать сквозь матовую оболочку вещей, окаменевшую скорлупу идеологий, принимать обет молчания - этот язык более не пригоден для речи - и начинать говорить заново по буквам, по слогам, лепетать как младенец, заикаясь и картавя... Надо снова шарить в потемках, нащупывать оборванные нити, вбирать все звуки и голоса, множиться, расщепляться, изменять ракурсы, охватывая вещь со всех сторон, увидев, сбивать фокусное расстояние, пойманное с таким трудом, все выворачивать, потрошить - и вырваться из круга, из-под тирании Клио, из плена бинарных оппозиций, проскользнуть перед хлопком мышеловки, под-

няться, взойти наверх, пролететь - и с ослепительных снежных вершин увидеть Замысел, недоступный смертным...

Но почему, почему нужно всегда быть в плену у хитрой и коварной музы Клио, дряхлой толстой старушки, которая невыносимо давит сверху прожорливым брюхом, припечатывает лилипутов к земле, тем самым внушая, провоцируя - достаточно, мол, перевернуть ее с живота на спину, и наступит долгожданный рай. И перевернуть хочется, но, переворачивая, нужно во что бы то ни стало удержать ее на боку, в хрупком неустойчивом равновесии, не дать вновь опрокинуться... Но все тщетно, ничего не выходит! Старой ведьме почему-то неудобно на боку, и в летаргической дреме - о ужас! - опять поворот, падение, и снова крики, хаос, кровь, хруст костей и душераздирающие стоны лилипутов...

Что же это, Господи?! Почему Ты допускаешь такое? Почему Ты терпишь эту кровожадную гадину - медузу Горгону?! Где же, где могучий Персей, который поразит эту тварь, уничтожит навеки?! Вот он! Удар! - и отсеченная голова падает, катится вниз, чудище повержено, мир спасен, человечество ликует, одинокий герой в лавровом венке на высотах Энгадина!.. Виктория, вечное возвращение, триумф!..

Но, однако, тут так холодно, на альпийских пиках: вечный снег, стужа, ветер, пустота... И наш спаситель, грозный Заратустра, уже изрядно продрог на вершинах духа, закоченел в демисезонном пальтишке, засопел, зашмыгал носом - вот уже кашель, насморк, так недалеко и до пневмонии... Нет, нет, пора вниз, домой, в тепло, уют, быстрее, назад по моренам, осыпям, камням, сквозь хвойные чащи и буковые леса, быст-

рей вниз, на улицы, к базарным мухам и рыночным площадям, где можно выпить стаканчик, обсохнуть, согреться...

А внизу, увы, час поздний. Давно закрылись магазины, погасли последние кабаки, такси на улице свирепо проносятся мимо, слепя светом фар и не реагируя на два пальца, поднятые вверх, сочувственно посвечивают фонари, пивной ларек виновато пожимает плечами - разве ты не видишь? я не в силах тебе помочь - одинокий червонец безнадежно застыл в кулаке, а дома не осталось даже спирта для компрессов... Что же делать, что делать, стоя ночью здесь, в глухом переулке, под мутным желтым светом фонаря, со скрипом на ветру, полощущимся в лужах, под гибельной тоской, вместе с мокрым снегом и дождем льющейся из черного неба, что?.. Все к черту! Надо снять, сбросить с себя невыносимое бремя самости, замкнутой единичности, кровоточащей монады, сдавленной в собственной скорлупе, скинуть тяжесть культурных напластований, весь мусор и шлак, остаться нагим, развеяться, развоплотиться, растворившись в безличном бытие, энтропии, в безбрежно равнодушном студне... Но как и где? Ночью одна надежда - "пятак", ночной центр народной торговли, в узком дворике направо, за помойкой, в подвальчике у тети Саши, где в ассортименте всегда есть бронебойный напиток "Агдам" - его услужливо вынесут тебе подручные или можно взять самому, дав три условных звонка - два коротких и один длинный.

...Итак, вот дверь, ступени вниз, звонок, три сигнала, шаги... задвижка лязгнула и...вот это встреча! За порогом вместе со старушкой - Иосиф, друг рыжего, кофейный завсегдатай, уже с двумя пузырями в ру-

ках: не вынесла бессонницы творческая душа. Полулысый семитский череп, бугры, худые скулы, плоская борода, черные удивленные глаза... Иосиф! - универсальный человек, филолог, лингвист, ницшеанец, дворник, крупный специалист по немецкому романтизму! Какое счастье, Иосиф, что за встреча, я тут ночью едва не погиб! Давай возьмем еще два пузыря и отправимся к тебе, в дворницкую, ведь совсем рядом, да?..

...Тут все так же, ничего не изменилось: кушетка, шкаф, книги, стол, лопаты, метлы, совки в прихожей, сумасшедший Фридрих и Новалис на стене, низкие окна на уровне асфальта, прогнивший пол... Слушай, как ты живешь, я сто лет у тебя не был! Ты помнишь наши споры? Ты все такой же неисправимый мракобес, критик усредненности и прогресса?.. А где Лиля? Расстались, ну, ну... Да, ты знаешь, рыжий совсем сошел с ума! Представь себе, в чем он меня подозревает... А я должен доказывать, что не верблюд, ну что ты скажешь?!

Иосиф смеялся, наливая в стаканы: ничего, мол, дело знакомое, бывает, не обращай внимания... Потом пили, закусывая позавчерашней колбасой: Иосиф, вздыхая, рассказывал про свое житье: все глухо, отовсюду выгнали окончательно, ни статьи, ни переводы не идут, Лиля ушла, пятый год в дворниках, третий год в отказе - ни туда, ни сюда; теперь две опоры в жизни - метла да "Агдам"; в глазах - тяжелая многолетняя тоска. После первой бутылки, как принято, перешли на общие темы: что же это такое получилось, кто виноват и откуда же повелось... Заспорили, зашумели. После второй - в дверь постучали: внезапно пришла знакомая, соседка с верхнего этажа - профес-

сорская дочь, студентка, белокурая бестия лет двадцати, держится без лишней скромности, уже немного навеселе. Вернулась домой поздно, устроили скандал, пришлось хлопнуть дверью и уйти... Увидела свет у Иосифа - где еще ночевать...

Едва закончили третью - снова стук. На этот раз пожаловал и сам усатый Фридрих - в коричневом сюртуке со стоячим воротничком, идеально выбритый, ухоженный, отставной профессор классической филологии, возвышенный отшельник из Сильс-Мария - с горных высот спустился на самое дно. Присел. Поставили перед ним стаканчик, который он брезгливо осмотрел и вытер платком, налили, предложили закусить...

Наш спор как раз достиг высшей точки: Фридрих появился вовремя - ну тут я и задал ему жару!.. Что, говорю, мудрецы, мать вашу так! Как живется в горах да в библиотеках? Хорошо, да? Как движется ваша веселая наука? Много книжек написали? А не хотите ли узнать, что тут началось после вашей кончины?! Не знаете? Так вот слушайте, какая тут началась смердяковщина!..

Он слушал молча, чуть высокомерно, однако, внимательно - лоб большой, внушительный, усилища в пол-лица, губ не видно, подбородок едва торчит, - морщился, изредка покачивал головой, но держался невозмутимо, как будто он тут ни при чем... Это меня и разозлило! Ах, ни при че-ем?! А кто же, говорю, кто научил смердяковых?! Кто, я спрашиваю?! С кого спрашивать-то теперь, а? От кого они все это заполучили, неужели сами додумались?! Ты, да твои бородатые соотечественники!.. Что? С них спрашивать?.. Ничего, не беспокойся, с ними мы отдельно поговорим, а

теперь твоя очередь... Так вот, говорю, кто же их учил, что Бог умер, что История кончилась, что человек - это стыд и позор, который нужно преодолеть?! Ах, вот что, оказывается, это было предназначено не для свиней... Ах, ты об этом писал, ты что думаешь, из двух фраз можно изгородь построить?! Что же, ты никогда не знал, что свиньи только и ждут, чтобы кто-нибудь их накормил очередным пророческим кушаньем? А теперь вот к нам миллионные векселя пришли, кто их будет оплачивать? Неужели мы, вот тут вот, в дерьме, с тараканами, теперь все это расхлебывать должны?.. Да, конечно, не отрицаю - не ты один, да, были посредники, сестрица еще твоя постаралась, а затем прочие, но изначально откуда пошло? Что? Ах, не с тебя, раньше еще началось, конечно, ты не виноват - никто не виноват, не с кого спрашивать!..

Так он сидел, растерянный, ошеломленный - от брезгливости и спеси не осталось и следа, - но упорно все отрицал, отпирался, валил на всех, кого только можно, - то на Макиавелли, то на Вольтера, усы топорщились, испариной покрывался лоб, а я все давил, давил, допрашивал; Иосиф начал было за него заступаться, но поздно - Фридриху стало дурно, полуобморочное состояние... Пришлось долго вокруг него суетиться, приводить в себя... Но зато потом он был полностью прощен, и мы втроем кончали "Агдам", пили, спорили, шумели, даже обнимались, Иосиф заснул на матрасе в углу, а Фридрих тоже напился в хлам (это с двух-то стаканов!), не мог встать со стула, хлопал мутными глазами, пришлось его раздевать, укладывать спать - сущий кошмар!.. Кровать была узкой, жесткой, вдвоем спать невыносимо, а от него к тому же пахло приторными духами, он почему-то оказался

худеньким и хрупким, дрожал и прижимался ко мне всю ночь, всхлипывал и что-то бормотал во сне, и волосы почему-то у него были длинными до плеч; и вот утренний сумрак уже вползал в низкие окна, и горло горело раскаленной пустыней, и колокола мрачно гудели в ушах, и чья-то маленькая светлая головка покоилась на моей руке и прижималась к плечу, и в окне уже топтались знакомые сапоги, и кружился мелкий снег, и лопата уже вовсю скребла по двору...

Грехопадение: из сверкающей метафизики гор - в тошнотворную эмпирию будней. Путешествие кончилось: паломник описал дугу, обойдя полмира, прошел сквозь века, моря, сквозь горы, степи и леса, обошел все общины, секты и согласия - и надо было возвращаться назад, домой, где тебя ждут...

И вот тогда я вспомнил, что была Ольга, она существовала здесь рядом, за стеной, давным-давно жила как тень, как бесплотный бледный силуэт в ореоле дымчатых волос, в своей отдельной и далекой жизни. Силуэт ходил на работу, играл, давал уроки, ходил в церковь, пил со мной чай, завтракал, ужинал, иногда разговаривал, иногда сердился, уезжал к своим старикам, возвращался и вновь пропадал в том неведомом полузакрытом для меня мире, откуда с сожалением изредка глядели на меня большие грустные глаза, как будто уже не принадлежавшие мне, удалявшиеся все дальше - вот-вот они оторвутся совсем, освободятся и исчезнут... Но когда эта мысль выскальзывала на поверхность, то пелена спадала: голова отворачивалась от письменного стола, от всех работ, забот и древностей, глазам возвращалась ясность, пространство сокращалось, зрачки начинали вглядываться в

эту тень - и она обретала объем, цвета, оттенки, на правой щеке появлялась родинка, выступали четкие контуры, светлый пушок на верхней губе, матовый наклон шеи, острота ключиц под черным джемпером, становились различимы даже узоры серо-голубых зрачков. Силуэт оживал, и чем больше всматривались глаза, тем сильнее во всем - от длинных тонких пальцев до характерного наклона головы - проступала некая тайна, знание, молчаливое, хрупкое, слабое, не видимое никем и, похоже, совершенно недоступное мне.

И тогда тотчас же возникало искушение: узнать, выцарапать его всевозможными средствами, вытащить, схватить. Тут мне не хватало терпения - немедленно, в крайнем случае, завтра, ведь оно же здесь, рядом, под рукой. Рождался некий зуд, томление неудовлетворенного сознания, проявлявшегося в форме старой игры - моего детища - ритуала взаимного истязания с самыми разнообразными атрибутами. Главное - найти повод, зацепить, застать врасплох, скажем, пока она сидит с книгой в кресле... Сначала в ответ недоумение, выразительный взгляд - и все: глаза снова в книге. Нажим усиливается: невинное предложение - не выпить ли нам чаю, кофе?.. Хорошо. Недолгие приготовления - и вот все готово: дымятся чашки, пальцы суетливо бегают по столу, нож размазывает масло, нарезает сыр, напряженно звенят ложки о фарфор, по клеенке бегают тени... Но все происходит само по себе, помимо нас, уже укутанных напряжением собственных полей, непроницаемых, отталкивающих друг друга. Она все чувствует, но пока - молчание. Тогда давление усиливается, начинается диффузия, медленное взаимопроникновение, но все равно

никаких реакций. Тишина. Вздохи, выдохи, звуки глотков... Тогда, теряя терпение, я совершал грубоватый выпад - несколько небрежных кощунственных фраз о чем-нибудь с в я т о м. "Начинается, любимая тема!" - чашка со звоном опускается на блюдце, кофе чуть выплескивается - цель достигнута. "Чего ты опять хочешь добиться?" - в глазах сверкает раздраженный огонек. "Ничего, просто поговорить..." "А я знаю - чего. Вывернуть меня наизнанку. Неужели тебе не надоело, а?.. Честное слово, там ничего интересного, все ты давно знаешь..." "Почему, далеко не все..." Она смеется, слегка закидывает голову, волосы касаются плеч: "Конечно, тебе нужно собрать все до крупиночки. Чтобы я стала прозрачной, как стекло. Но позволь уж мне оставить что-нибудь себе. Можно?" "Сколько угодно, я на все не претендую..."

Снова молчание. Звуки, звон, ожидание - надо выдержать паузу, но когда же?.. "Что ты молчишь? - наконец она не выдерживает. - Давай же, давай, раз начал... Надо же все высмеять, перевернуть, изничтожить, смешать все, что не твое, а потом доказать, что белое - это черное, и все прекрасно! Как ты это умеешь... Ты ведь мастер... Ну, что ты замолк?.." "Хорошо, хорошо, ничего не хочу, я - мастер, только не заводись, пожалуйста..." "Потрясающе! Сам же меня заводишь, а потом «не заводись»!" "Да я не завожу, пойми, я хочу знать, почувствовать наконец... Мы же по-прежнему, как-никак, с тобой..." "Ты? Со мной? - перебивает она. - Нет, ты не со мной. Давно уже..." "Интересно, а с кем же?" "Может быть, с н е й, не знаю, или с кем-то там еще... Но скорей всего и не с ней. Ни с кем... Видимо, где-то между нами - там, где тебе больше всего нравится. Это тебе лучше знать, а

меня это теперь уже мало волнует..." "Так уж, неужели?" - невинно улыбаясь, спрашиваю я. "Да, представь себе, ты немного опоздал. Совсем чуть-чуть..." "Ты ошибаешься, я ведь хочу, хочу, понимаешь, быть с кем-то... Меня это мучает. Это серьезно". "Не-ет, не хочешь, - она вновь смеется своим удивительным смехом, закидывая дымчатые пряди назад, и в этом смехе чувствуется абсолютная убежденность. - Именно ты сам и не хочешь!.. То есть, я понимаю, что тебя это мучает, и это серьезно, но именно это же тебе больше всего и нравится. Больше всего на свете... Если ты будешь с кем-то, твердо и окончательно, тебе тотчас же захочется чего-то другого, противоположного..." "Очень интересно, а чего же тогда я хочу?.." "Вот уж не знаю... Например, тебе нравится, как ты говоришь, разоблачать иллюзии - разрушить, а потом наблюдать, что получится. И вообще, у тебя неистребимая любовь к руинам, пепелищам... Ну что тут сделаешь - это профессиональное". "Это я уже слышал. Ну, а еще?" "Еще?.. Очередной допрос!.. Ну, хорошо. Например, сейчас ты хочешь опять затянуть в свой любимый туман, где ничего не разберешь - где верх, где низ, где свет, где мрак, в ваши любимые игры, в двусмысленность, которую вы так любите..." "Ну почему "наши"? И почему "мы так любим"? Кто это "мы"? - перебивал я. - Я этого не люблю, но это есть, понимаешь, есть везде и во всем. И в нас в том числе. Есть, и от этого никуда не деться, не убежать, как бы ты этого ни хотела, в этом нам суждено быть и это выдерживать..." "Да, да, это есть, я согласна. Но это можно любить, а можно не любить, - ее голос задрожал и глаза чуть засветились, заблестели, - и ты это любишь, ты заражен и пропитан насквозь, сам того не замечая,

ты этим живешь и распространяешь вокруг себя... А я этого не люблю, ты знаешь, не принимаю! Я не люблю руины, мне надоело разрушать, испытывать на прочность. Пускай я проста, примитивна, мне это недоступно, если хочешь. Но я хочу просто жить, дышать, верить, что вот хлеб - это хлеб, ты - это ты, роза - это роза, а грязь - это грязь!.. И больше ничего. Я устала, ужасно устала, понимаешь! Оставь меня в покое, я умоляю тебя, отпусти меня ради всего святого!.. Я не хочу заживо рассыпаться и умирать, я люблю тебя, но я не могу с тобой... Мне никак не освободиться, я прошу тебя, отпусти!.. Чтобы жить с тобой, надо иметь в пять раз больше сил, чем у меня, пускай ты сильный, я - слабая, но отпусти... Я не могу здесь дольше жить!.."

Странно, в часы обыденности мне всегда казалось, что я смогу пойти на это, смогу вполне, это будет тяжело, но преодолимо. Но как только струна натягивалась и звенела этим "отпусти", тут же пронзало: нет, нет, это невозможно, страшно, немыслимо, нет... И вот так, круг за кругом, виток за витком все проворачивалось каждый раз сначала, и зачем-то надо было все это пройти до конца, до исступления, взрыва, до огненной ненависти, до черного тупика, до очередной попытки бегства, до выжженной пустоты - чтобы потом, почувствовав это, все развернуть назад, каяться, сходить с ума, умолять...

...И когда в том январе я вновь выползал на берег из океана тьмы, то тут все уже было кончено, на этот раз я действительно опоздал и ничего не мог поделать. Ольга набивала свой баул, собирая и складывая вещи, но они упрямились и не залезали в сумку, раздувая ее

уродливым пузырем, и "змейка" упрямилась, и невыносимо скрипели половицы, и в горле таяли и погибали так и не рожденные слова. Она собиралась с какой-то упорной обреченностью и вместе с тем спокойно, молчаливо - язык был парализован, почти мертв, он вернулся к младенческому состоянию и мог выражать лишь простейшее: "да", "где", "возьми", "не надо", "принеси" - для другого он был не пригоден. Наконец все было собрано, вещи смирились, затихли, запертые "молнией": и вот уже одета кроличья шубка, черная лямка на плече, пестрый пакет в руках, несколько слов, полуулыбка, прощание, дверной хлопок - и тающий силуэт во дворе, белый пунктир снегопада в мутном немытом окне.

Так получилось, что дня через три, на святках, уезжал Ипполит Ильич. Я помогал ему паковаться, разгребать многолетний хлам: к вечеру все было перевернуто, сдвинуто, перевязано. Старые работы были сняты с антресолей и подвергнуты строжайшему отбору - несколько любимых пейзажей было подарено мне. Я был членом отборочной комиссии из двух человек, давал оценки, советы, но последнее слово оставалось за стариком. "А это брать, что скажете? - спрашивал он, вытаскивая старый натюрморт, и сам же отвечал: - Нет, это все хлам, не стоит..." Я кивал головой, перевязывая матрас с рыжими разводами, безуспешно пытаясь представить себе, что это значит: начать все заново в семьдесят шесть лет. Ипполит вел себя так, словно все бывшее - это лишь вступление, несколько затянувшийся пролог, предыстория, а теперь начнется то, что он выстрадал и заслужил - прежняя душа умрет и родится новая. Но вечером, когда мы пили чай на кухне в пустой квартире, он не удержался и

снова стал вспоминать, жаловаться, проклинать, и я опять успокаивал, подбадривал, хвалил.

Фургон должен был приехать утром в районе одиннадцати, а где-то в половине двенадцатого я зашел к нему, чтобы подарить альбом Добужинского. Было жалко, альбом хороший, но очень хотелось его обрадовать. Постучал. Ответа не было. Толкнул дверь - и тотчас же перед собой, слева, увидел н о г у - в сером носке с дыркой на большом пальце, бледно-синюю с буграми варикозных вен. Пижамная штанина была задрана до колена, туловище покоилось на полу, лысая голова прислонилась к дивану, полуоткрытый рот застыл в судорожной гримасе, неподвижные глаза устремлены в потолок... Рядом рассыпались осколки синей чашки, у колена - нитроглицерин... Падая, он, видимо, смахнул все с тумбочки, но ночью, за стеной, я ничего не расслышал.

VIII

Снег, снег, снег... Снег весь январь, начиная с Рождества, - он шел несколько дней без перерыва, потом к Крещению похолодало, а затем опять снег, снег без конца до самого февраля. Трудно припомнить схожую зиму - сплошной снегопад, снег всех состояний и оттенков: то влажный, липучий, за ночь отбеливавший весь город, то жесткий, с ветром, нещадно хлеставший по лицу, то легкий, медленный, невесомый. Январь остался в памяти сугробами, дорожками, протоптанными по утренней белизне, влажными башмаками и моим окном, прочерченным пунктиром падающих хлопьев. Снег шел даже во сне, и пробуждение ничего не

меняло - один сон плавно перетекал в другой, потом незаметно продолжался следующим, и душа была пленницей снежных превращений, и жизнь покорно дремала в снегу, как полуосыпавшаяся елка, брошенная во дворе.

Я жил теперь один, и каждое утро казалось продолжением сна: дорога в Институт, все те же шаги, чередование тупоносых ботинок с соляными разводами, нырок в подворотню, площадь в сугробах, пятиглавый собор с голубыми куполами... И площадь была пуста, и город молчал, и медленно замерзали заснеженные дома с черными дырами холодных окон, и все реже встречались фургоны, куда грузили пожитки и мебель... Вот последний поворот, еще двести метров, каменные ступени, медная липкая на морозе ручка, тяжелый дверной скрип, вестибюль - и все как будто по-прежнему, никаких изменений...

Но тогда, в январе, сквозь тонкую пленку обыденности тут и там уже проступали пугающие водяные знаки, смысл которых, однако, до конца понять было невозможно. То есть сам по себе каждый из них в отдельности был предельно ясен - он угрожал, предвещая разоблачение, но в целом они выстраивались в некую цепочку, сложную комбинацию, двусмысленную и неопределенную. Например - не помню точно, какого числа, - еще в двух местах исчезла моя фамилия; причем именно исчезла, а не была стерта или заклеена, словно черную тушь начисто смыли таинственным растворителем или просто целиком поменяли стенд. Но зато в те же дни в другом месте, где ее уже больше месяца не было, она внезапно воскресла, проступила вновь, так что мне пришлось усомниться в собствен-

ной памяти... Было или не было? Нет, не было и не могло быть... Ага, значит, они издеваются, ведут лукавую игру, намекая тем самым, что ты опознан, раскрыт, разоблачение неминуемо, ты давно в наших руках. Глупыш, ты думал, что все это было незаметно, что мы ничего не видим, не чувствуем, не знаем... Мы давно знаем все, мы признаем противников, открытых врагов, но не терпим двуличия, обмана, двоемыслия, - ты должен прийти к нам сам, пока не поздно, слышишь? Да, да, "пока не поздно", "пока не поздно" - холодным эхом гудело в ушах, проникало в кровь, впитывалось, парализовывало. Теперь уже везде и всюду догонял этот взор - всевидящее око, - преследовал, дразнил, смеялся, впивался в затылок: ты больше никуда не убежишь, мы везде найдем, достанем, вытащим, сопротивление бесполезно, разве ты сам не видишь - посмотри вокруг!.. И я уже все видел - тревогу, настороженность, удивление в глазах идущих навстречу по коридору, слышал неразборчивый шепот за спиной, а порой чувствовал и стыдливое сочувствие. Было еще что-то, трудно постигаемое, скользкое, словно все уже определенно что-то знали, а ты еще только догадывался. И было страшно, и опять хотелось бежать, уехать... Куда? Смешно. Правда, оставался Дьяконов - двойник, соратник, в некотором смысле - резидент. Но буквально через неделю после Ипполита, в результате двухмесячных мучений, скончалась его мать, и он исчез из Института надолго. Сначала было неловко ему звонить, а потом телефон почему-то безнадежно молчал...

А где-то там, далеко наверху, уже вовсю крутились колеса: чьи-то руки с толстыми волосатыми пальцами доставали с многоярусных рядов объемистую

серую папку - именно эту, одну-единственную, и долго несли ее по этажам, спускались или поднимались в лифте, открывали дверь, входили в кабинет и клали на т-образный стол; там ее открывали, листали, рассматривали - всевидящие авгуры, волхвы, несущие на раменах тяжелое бремя власти, обладатели таинственной силы, умеющие слышать сквозь стены и предсказывать судьбу, разбирали по крупицам, дотошно изучали просвеченные внутренности, разговаривали, курили, сминая окурки в хрустальных пепельницах, совещались: что это - болезнь, аномалия или преступление? Потом закрывали папку и несли ее дальше, из кабинета в кабинет... А что в ней? Досье на бедного маргинала, изобличенного сотрудника византийской разведки или, скорее, анамнез - история хронического и безнадежного заболевания? Неизвестно. Но так или иначе, диагностика завершена, материалы собраны, гипотезы выстроились цепочкой доказательств - случай, похоже, неизлечимый. А может все же есть надежда? Посмотрим...

И чей-то кривой указательный палец уже крутил диск телефона, а на другом конце магистр снимал трубку, слушал о результатах расследования, удовлетворенно соглашался и снисходительно благодарил; потом нажимал кнопку, вызывал секретаря и просил пригласить к нему будущих лекарей, чтобы сообщить об окончательном диагнозе, проинструктировать, обговорить детали, чтобы операция прошла строго по плану, никаких отклонений, способных нанести травму.

И роковой день приближался, летел навстречу черным тоннелем сквозь январский снег, ветер, вьюгу, и колеса со стуком бежали по этажам, по переходам,

лестницам, площадкам, и так много открывалось путей - сверни, казалось, на любой - и ты свободен, спасен, ты в безопасности, но свернуть почему-то было нельзя, как ни пытайся, колея вела только туда, вперед, неумолимо, вдоль пузырящихся стен, зеркал, дверей, испуганно-удивленных лиц, вывесок и стендов, и медленно угасало солнце, и сумерки серели, и все сужалась колея, и, наконец, двери открылись, поезд влетел в черную дыру, замедлил ход, остановился в тупике... В кабинете шторы были опущены, люстра под потолком светила тускло и только тонкий луч наискось скользил вдоль стены, высветляя многодневную пыль, и падал на огромный стол на возвышении, за которым заседали святые отцы в креслах с высокими спинками под портретом государя императора - члены трибунала в темно-малиновых мантиях... Нет, стоп, не то. Надо разобраться, что это будет - суд или клиника, и соответственным образом, обставить помещение. Нет, трибунал не годится - надоело. Конечно, это консилиум лекарей различного профиля, не в мантиях - зачем они? - а в обычных халатах и колпаках, со стетоскопами на шее. И тогда на стене будет висеть не государь, а ученый муж, светило материалистической науки, ну, скажем, Иван Петрович Павлов. Итак: в центре - Декан (председатель), слева и справа - диалектики (его заместители), чуть дальше - вынужденный гость, профессор Десницкий, еще дальше - незабвенный Г.Г., а в углу на стуле - молодой человек в сером костюме - наверное, один из авторов предварительного диагноза - с подозрительно знакомой внешностью (да не он ли мелькал на лекциях?), который, правда, все время будет молчать. Легкий запах эфира и камфоры, посредине - операционный

стол, позади - ассистенты в бледно-голубых халатах... Ну и достаточно - остальное дополнит воображение.

Да, следует добавить, что Десницкий чувствовал себя не лучшим образом за одним столом в такой компании. Это было видно, как говорится, невооруженным глазом, но что теперь сделаешь! Он глядел мрачно, исподлобья: что, доигрались? И меня-то подставили!.. Говорил же я вам!.. Во время заседания наш престарелый египтянин то морщился, то нервно пощипывал щеку, то вытирал испарину со лба, то опускал голову и смотрел куда-то себе под ноги. Было очень неловко перед ним. В самом деле, старика можно было понять: почти тридцать лет жить спокойно, наслаждаться сказочным Египтом, присутствовать при закладке пирамиды, плавать по Нилу с великим Цезарем и божественной Клеопатрой - и надо же! - на старости лет опять вляпаться в такое жирнющее и вполне современное дерьмо! Выкурили, черти, везде найдут...

Нет, впрочем, опять ошибка - вечно язык уводит не туда. Здесь грубые слова совершенно неуместны, они не имели ничего общего с той удивительно мягкой, доверительно-интимной атмосферой, тем заботливым излучением, что исходило от каждого лица, предмета, слова, от подвижных внимательных бровей председателя, пропитывало атмосферу, окутывало операционный стол, стоявший посредине. Не стоит забывать - начинался акт заботы: проявление милосердия, чуткости, бескорыстия - превентивная мера, сложная операция по расчленению тканей, устранению опухоли - будем надеяться, пока доброкачественной, - ежечасно грозящей страшнейшими метастазами, гибелью. Недаром перед началом несколько раз справлялись о самочувствии - нет ли слабости? не душно ли?

не открыть ли форточку? не хочется ли курить?.. Сначала был аналитический доклад о результатах предварительной диагностики. Докладчик ежеминутно поправлял пенсне, вытирал лицо платком и был строг, последователен, логичен. Он начал с общей характеристики хронической патологии, дал краткий портрет маргинального субъекта, а затем перешел к специфическим чертам одинокой монады, всегда занимающей промежуточное пограничное положение. Как правило, сказал он, это своеобразный Протей, живущий путем непрерывных превращений, но особого типа. Это человек-айсберг или крот, создающий систему разветвленных нор, ходов, которые сохраняют для него иллюзию свободы. Поэтому он безоговорочно предпочитает ночное дневному, внутреннее внешнему, вымышленное реальному; характеризуется страхом, беспокойством, как правило, некоторой ущемленностью и чрезмерной чувствительностью, а также эгоцентризмом (возможны варианты), в предельном случае переходящим в солипсизм; при этом может утрачиваться единство и начинаться процесс непредсказуемый и совершенно неуправляемый, что, естественно, представляет серьезную опасность (в том числе и для него самого), которую, по возможности, всегда следует заблаговременно предотвращать путем экстренного хирургического вмешательства, и так далее, и тому подобное.

...Итак, пожалуйста, будут вопросы? Все ясно? Ну что, тогда, может приступим?.. Как там дела у ассистентов? Все готово?.. Мы всегда обязаны успеть пресечь патологию вовремя, уберечь от безнадежности... Пациент обработан, готов... Превосходно. Приступаем... Перчатки, общий наркоз, кислородная маска... Нет, еще, анестезия должна быть полной... Респира-

тор... Ланцет... Скальпель... Тампоны... Внимание - надрез... Рассечена грудная клетка. Глубже, глубже, еще, еще... Что это, смотрите? Поражены легкие... И тут, и там, и вот тут... А вот еще! Опухоль... Да, я вижу... Это безнадежно... Рак, метастазы солипсизма... Мы сильно опоздали, поражение тканей началось давно... Попробуем удалить, но вероятность ничтожна, сердце может не выдержать нагрузки... Да, это опасно...

Итак, смерть под ножом на операционном столе - душа окончательно отделена от тела, ампутирована и выброшена вон. Но началось это давно, сейчас лишь завершилось. И все это происходило уже с н и м, а не со мной, это он входил сюда, садился, слушал ученые речи, отвечал на вопросы, уже чувствуя начинавшееся разделение, дематериализацию; это его клали на стол, это ему было страшно, и он думал о них с ненавистью, а душа с печалью смотрела вниз на покинутое тело, на раскорчеванные внутренности, на свои опухоли и метастазы, на ланцеты, тампоны и окровавленные пальцы мясников, заправляющих теперь все обратно и поспешно зашивающих, понимая, что это неизбежно, закономерно, они правы - иначе и не могло быть.

Но и эта гуманная акция была бесполезна, они опоздали, а он все-таки выжил, вынес операцию; но миазмы в крови, организм обречен на дробление, умирание, распад, его не собрать, не исцелить, не вдохнуть в него силу, здоровье и цельность, не освободить из мрака подземелий. Но что тогда делать с этим мутантом... По обыкновению, остается доказать, вымыв окровавленные руки и вернувшись за кафедру, - не в первый раз! - что он не обладает статусом подлинной реальности, что это - мираж, мнимая величина, корень из минус единицы, пустая оболочка, знак, лишенный

содержания и смысла, который без всякого ущерба для целого может быть изъят, вынесен за скобки, за пределы бытия - и перестанет существовать.

Это так просто: сеанс лечебной магии, инициация с обратным знаком, взмах астролога иль чародея - и объект уже чувствовал, как теряет вес, как медленно тает плоть, как исчезает значимость, как испаряется в артериях кровь, как тело становится проницаемым, тускло-прозрачным, бесцветным, едва различимым, как заканчивается заседание, все встают, снимают халаты, расходятся, о чем-то болтая и угощая друг друга сигаретами, как они берут портфели и хлопают дверьми... И остался лишь призрак, который в нерешительности вышел в коридор и пошел, пошатываясь, неведомо куда, пугая людей, идущих навстречу, - они в ужасе отшатывались, пробегали мимо или же робко, нерешительно протягивали руку, чувствуя в ответ могильный холод потустороннего рукопожатия, леденящий ужас небытия. Больше ничего не было - ни единой зацепки, ни знака, ни имени: все исчезло с вывесок и стендов. Напрасно шарят в надежде глаза, что-то выискивают, смотрят - их больше нет, не ищи... Но глаза все равно искали, а прозрачные ноги шли, спускались вниз по лестнице, невидимые руки по привычке натягивали пальто, отныне ненужное, напяливали шапку, наматывали шарф, отворяли тяжелую дверь - и там был снег, и в небе, и на земле, он падал сверху вниз влажными крупными хлопьями на мостовые и тротуары, на козырьки фонарей, карнизы, крыши и ступени, и ноги шли, держали путь домой по снежной целине без малейшего шороха и скрипа, не оставляя никаких следов.

Февраль: жизнь взаперти, без надежды, без света. Крысиный шорох, вой домовых во время вьюги, капель в раковине на кухне, узоры на окнах, треск обоев, когда на морозе отворяешь форточку, скрип половиц под стоптанными тапками, тусклые лампочки, тени, опустевшие комнаты, чуланы, вещи, рухлядь, пыль, взвешенное состояние - странная легкость, почти невесомость, душа свободна, не окована телом... В доме пока живут, еще не все уехали, во флигеле по вечерам еще светятся окна - четыре справа и два слева, вчера одно погасло - их стало пять, но мне все равно, какая разница, сколько. Ведь я не понимаю, что это: освобождение, независимость, когда наконец все разорвано, потеряно и осталось там, и ты свободен, ты сам в себе, внутри и для себя... Или нет, напротив, это обман, ты пойман, пленен, ты - заколдованный принц в старом заброшенном замке - чудовище с нежной закрытой душой, которым пугают капризных детей. Я не знаю... Я ничего не могу понять. Я ищу, расщепляю слова и снова стыкую буквы, ищу столкновения, смыслы, ключ, отмычку, но замок упрямится, скрежещет, мне не выйти, хода нет, дверь заперта, я не знаю, не знаю, не знаю... И что-то мелькает, кружит за окном, и проходит день за днем под звуки падающих капель - проклятый кран, никак до конца не закрыть, - под скрипы, шорохи и всплески. Я сплю днем и просыпаюсь вечером, хожу, хожу, хожу... У Дьяконова телефон молчит, уныло, безнадежно, я выхожу на лестницу, спускаюсь, отсчитывая 18 ступеней, автоматически заглядываю в почтовый ящик, где ничего не может быть... Но странно, там письмо, знакомый почерк, вот это да - Орловский! Почему я так обрадовался?.. Пальцы рвут конверт - большой, со

множеством марок и штемпелей, послание из другого мира, глаза впиваются и жадно впитывают знаки. Письмо длинное - в несколько страниц, как всегда взвинченное и сумбурное, - речь в нем шла о вещах удивительных, если не сказать больше...

Прежде всего, сообщал он, распри в общине благополучно завершились. Правда, к сожалению, с двумя группами особо упорствовавших и закосневших в своей гордыне смутьянов пришлось распроститься - сами виноваты, нечего было воду мутить. Но зато теперь - полное единство. И, главное, отношение к ним постепенно меняется, им удалось заполучить два вполне приличных зала, а также отдельное помещение для исследовательской группы. А то до недавнего времени желающих было так много, что приходилось осуществлять довольно жесткий отбор: теперь же возможности существенным образом расширились и впереди еще более широкие перспективы...

А я читая об этих успехах, вспомнил те давние времена, когда община была всеми отвергаема, гонима, ютилась по подвалам и квартиркам, и как в то время Орловский однажды уговорил меня посетить лекцию Учителя и увидеть все собственными глазами. Я помню, как он долго вел меня какими-то черными закоулками, проходными дворами с обилием мусорных бачков, бездомных кошек и ломаных ящиков, как мы протискивались в узкую щель в кирпичной стене - пока не дошли до цели и спустились по ступенькам вниз в затхлую полутьму. В подвале пахло мышами и сыростью, вдоль стен с ржавыми подтеками тянулись фановые трубы, с которых свисала пакля, робко светила единственная лампочка, а на потолке висело несколько обгоревших спичек с пятнами копоти во-

круг. Посередине на длинных неструганых досках, положенных на ящики из-под молочной тары, располагались десятка два жаждущих света неофитов - дамочки средних лет, кудрявые девочки и мальчики, двое пожилых мужчин, инвалид с костылем, - собравшихся на теоретическую лекцию местного архата. Но самым важным, тем, что ощущалось сразу, была совершенно особая атмосфера - непередаваемой значительности, таинственной избранности отверженных, тот незримый дух подвального мессианизма, что исходил едва ли не от каждого лица и дававший почувствовать любому случайному путнику, вошедшему сквозь скрипучую дверь, что правда - здесь.

Учитель был человеком лет сорока семи с любопытной выразительной внешностью: длинным вытянутым лицом, высоким приплюснутым с боков лбом, с огромным родимым пятном на виске и острым, пронизывающим, даже немного пугающим взглядом. Было интересно не столько то, о чем он говорил, а то, как он говорил - глухим низким голосом в рваном ритме с внезапными паузами, то медленно выводя каждую фразу, почти шепча, то внезапно ускоряя темп, то опустив голову, то впиваясь черными зрачками в аудиторию, - и то, как его слушали: почтительно, благоговейно, тщательно фиксируя каждое слово.

На этот раз речь шла не о метемпсихозе, реинкарнации и даже не о путях единения с Абсолютом, а о вещах более конкретных - о кризисе сознания и структуре психики. В настоящее время, начал он, представление о человеке как о замкнутом и неделимом единстве должно быть безоговорочно сдано в архив. До этого наконец начинает доходить и академическая психология... Согласно Гюрджиеву и Успен-

скому (он их цитировал неоднократно), которые развивают тысячелетнюю традицию, - каждая мысль, желание, чувство, настроение всегда говорят: "Я". Человек - это множественность, имя ему - легион. Каждое малое "я", врываясь в сознание, придает ему ту или иную окраску, вплоть до полного поглощения; оно может называть себя именем Целого, давать обещание, принимать решения, с которыми придется иметь дело уже другому, следующему "я", доминирующему в Целом.

Этим, продолжал он, и объясняется всеобщая безответственность - то, почему люди так часто принимают решения и так редко их выполняют, то, почему люди так часто меняют взгляды, и т. д. Человек, предположим, решает рано вставать, начиная со следующего дня. Это решение принимает одно "я", но вставать с постели дело уже другого, утреннего "я", которое совершенно не согласно с таким решением, - это и приводит к простейшему конфликту, осложнениям. Более того, малое, случайное "я" может в какой-то момент что-то пообещать уже не себе, а кому-то другому, просто из тщеславия или ради забавы. А человек, т. е. Целое, совершенно не ответственное за это обещание, будет расплачиваться за него в течение всей жизни. В том-то и трагедия, что каждое малое "я" стремится подписывать чеки и векселя, а человек обязан их оплачивать. Нередко вся жизнь и состоит в том, что человек вынужден оплачивать векселя малых случайных "я".

Отсюда и широко распространенное в истории культуры сравнение человека со свитком пергамента - светом сознания освещен лишь кончик этого свитка, и если бы мы могли его развернуть, то обнаружили бы

все пласты мировой истории и природной эволюции; или - с домом с жильцами, многие из которых и не подозревают о существовании друг друга; или - с океанским пароходом с сотнями пассажиров, едущих каждый в свое место и со своей целью, причем каждый из них невольно принимает себя за центр парохода. С одной стороны, подобная множественность является основным источником всякого творчества, которое, собственно, и состоит в том, чтобы путем самоуглубления организовывать весь этот хаос, выявлять скрытые "я", сталкивать их друг с другом, "знакомить", управляя с помощью силового поля Целого. В том же случае, когда поле слишком слабо, как это и бывает у большинства, имеет место обратное. Тогда мы получаем человека крайне импульсивного, безответственного или же - если переходить к моральным оценкам - зачастую безнравственного. В предельном случае, когда Целое ослабевает, мы имеем дело уже с чисто клиническим случаем деперсонализации и распада. Кстати, поэтому и столь трудно различимы категории болезни и здоровья - психиатрия до сих пор не в состоянии выработать четких критериев. Главное, повторяю, в характере энергетического поля... Возникает вопрос: как же его регулировать, усиливать, как синтезировать с его помощью? - перешел он к основной части лекции. - Итак, происходит...

- Так, та-ак, - что же тут происходит? - загрохотал чей-то громоподобный голос, вслед за которым из входного коридора появилась фигура в фуражке и в синей шинели с погонами, а с ней два человека с повязками на рукавах...

Фигура отдала честь, представилась и самым решительным образом потребовала предъявить докумен-

ты на аренду помещения... Сперва - гробовая тишина, немая сцена, потом возгласы, шум, все повскакали с мест, начались беспорядочные объяснения... Но так как подвал арендовался непосредственно у старшего мастера треста за арендную плату - две бутылки в неделю, то, естественно, никаких документов не оказалось. Главного мы так и не услышали: доктора потащили в участок вместе с Орловским для составления протокола, а слушателям пришлось разойтись.

Да, лекция оборвалась на самом интересном месте, и корабль вынужден лечь на обратный курс, продолжить бесцельное плавание, со множеством незнакомых друг с другом пассажиров, возвращаться домой в одиночестве, блуждать, скитаться в проходных дворах, среди грязи, мусорных бачков, кошек, ящиков, путаться в тупиках, как следует не запомнив дорогу, с трудом, наконец, выбраться из городских трущоб, из темных закоулков памяти, и продолжать, сидя за столом, чтение письма, в котором сообщались такие известия, что начинала кружиться голова... Если б ты мог себе представить, писал Орловский, какие открываются перспективы, да и вообще, что тут за жизнь! Теперь к ним подключаются востоковеды, философы и математики, и даже музыканты. Помимо медитаций, лекций, семинаров, идет активная исследовательская работа, создаются новые группы, которые работают на стыке различных областей и синтезируют то, что прежде казалось несоединимым. Да, они на пути к новому синтезу, они по крупицам вымывают золото из умирающих мировых религий, из древней мистики, философии, мифологии, науки, они на пути к новой синтетической "вере-знанию", возможно религии грядущего века. Скоро они должны будут получить новое

здание, целый комплекс, в котором смогут заниматься сотни человек; оно уже строится, чрезвычайно оригинальное по замыслу - сплав русской и восточной современной архитектуры, храм духа и гармонии, в своем роде второй Ауровиль, город новых людей... Конечно, трудностей много, еще очень много, но другого пути нет, синтез между религией, философией и наукой, Западом и Востоком - вот призвание России; пускай нам ставили и ставят палки в колеса, но мы не отступим несмотря ни на что...

Далее речь шла обо мне, Орловский вновь убеждал, что не только я нужен им, но и, прежде всего, они нужны мне. Как ты не можешь понять, писал он, что там ты сгниешь и пропадешь, не останется и следа. Ты должен перебираться сюда как можно быстрее, а то будет поздно, и тебе уже никто не сможет помочь. Ты должен оставить там все и вся, умереть, чтобы родиться заново... И неужели ты по-прежнему якшаешься с этими ископаемыми монстрами (речь шла о мансарде), этой дремучей чухломой, пьяной тьмой, пропахшей ладаном?! Ты должен освободиться от всего этого, сбросить катаракту, увидеть то, что скрыто за покрывалом Майи, ну и так далее, и тому подобное...

Чтение этой странной эпистолы из нового града, где вовсю идет работа и уже создается трансцендентальный инкубатор для серийного производства особей с "третьим глазом" и целостным просветленным сознанием, способным достичь единения с абсолютом, сначала навело меня на мысль, что мой приятель явно переусердствовал в медитациях, крайне перевозбудился и утратил чувство реальности. Впрочем, подобное случалось и раньше, но все же не в такой степе-

ни... Н-нда, странно... Но тут же за столом, под лампой, мелькнуло, даже обожгло: а если все как раз наоборот, т а м это возможно, там это реально и естественно, и это я - слепец, агностик, я здесь действительно в плену, того не сознавая, я - человек, цепями закованный в пещере лицом к стене, и только тени, отражения скользят передо мной, я опутан клейкой безнадежностью мира, душа разъедена кислотами релятивизма, я замкнут, заперт, и никто мне не может помочь.

Да, я теряю чувство юмора. Если философия - болезнь языка, значит, я болен, поражен глубоко и безнадежно, я мыслю, следовательно, не существую... Гулкие шаги по галереям, залам, анфиладам, множащиеся многократным эхом, - феодал в ветхом замке, отвоеванном некогда с таким трудом, рыцарь, как-то незаметно ставший вассалом. Вот дверь, тяжелая и страшная, окованная медью, ржавый засов в плесени и паутине. Сырость, сверху капает вода, на поясе связка ключей, но все заржавели и ни один не подходит... Нужно узнать слова - молитву, заклинание, код, который мог бы раздвинуть стены... Знать, по-знать... у-знать... у-знавание... Что это такое? Открытие смысла при его полном отсутствии, соединение разъятых половин, удовлетворенный хруст ключа в ржавом замке, желанный лязг засова, пыльный луч, пронзивший черноту, зрение, дарованное благодатью... Да, это взгляд, зрачки, способные увидеть себя сзади, с другой - той самой стороны, глаза - свои и вместе с тем чужие, глаза иные, чистые, прозрачные - Его глаза и чуточку твои. Да, это - разделение, расставание, развоплощение, когда возможно забыть себя, быть и не быть одновременно, застыть на грани двух миров и отстра-

ниться, отлететь частицей чистого сознания, чтобы увидеть то, другое, брошенное - тот сгусток, атом, едва заметный в плазме мировых сцеплений, слепой запутавшийся узелок - и подсказать, толкнуть, направить... Куда? Вглубь, обратно вниз по галереям, по древним каменным плитам, по обжигающим следам, вниз по ступеням, вглубь за Святым Граалем, с мечом на поясе, со свечой - во тьму, назад, в подвалы Церкви Святого Гроба в Иерусалиме, все глубже в сырость, мрак и холод, где в той последней глубине мерцает сокровище, сосуд, потир от первой литургии, таинственное зеркало, алеф, в котором ты увидишь все. Вот он все ближе, ближе, и духи зла рассеяны, неверные разбиты, и пальцы рыцаря касаются, трогают, берут... но Грааль дробится, рассыпается, как в медленном рапиде, на тысячи частей, и видишь лишь крупицы, обломки, прах: руку, волосы, глаз, ветку, сосны на севере, шрам на виске, цветок эдельвейса в горах, чью-то подошву, слезинку, царапину, а целого нет, его не увидеть и не схватить... Отчаяние, бессилие, ужас - бедный паломник, что теперь будет с тобой? И сидя здесь, в подземелье, на дне ойкумены, он думал: зачем я тут? Всю жизнь во тьме, на кладбище, среди обломков, костей, черепов, зачем? Чтобы быть свободным от мировой данности, чтобы пробиться, достучаться, прокричать из подполья: очнитесь! Что вы делаете, ведь все это уже б ы л о, и все вы были, вы, там, наверху, и все это уже с вами было, зачем повторять вновь? Я знаю, знаю, чувствую, слышите?! Ради Бога, поверьте мне! Я уже вижу, вижу, вижу, я чую запах гари, я слышу цокот железных копыт, я вижу зарево далеких пожарищ и тьму, которая покроет землю. Каждое движение опасно, наша самовлюбленность чудовищна,

а милость Божия небеспредельна. "Ибо ты говоришь: "Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг".

Но никто ничего не слышал: и голос долгим эхом метался по подземелью. Они не слышали и не могли услышать, а если б услышали, прогнали и побили камнями. Их всех это оскорбляет: "Как все было? Значит, и Я тоже был? Как же тогда жить, зачем? Как ты смеешь, урод, зачем нам это знание, оно нас убивает". Да, урод, это правда. Изъян, провал, отклонение: что-то не так, что-то нарушено, искривлено, повернуто в другую сторону. Так было с самого начала, и, ничего не зная, я уже догадывался, а когда узнал - все подтвердилось. И надо было это скрывать, таиться как только возможно. Тут подходило все - любой маскарад, бутафория: темные очки, усы, грим, борода, накладные брови - лазутчик, соглядатай, но все равно не помогло...

А теперь вот так: пещера, сумрак, сырость, осколки, пустота, холодные воды Стикса... Нет, погибать герою еще рано, впереди возвращение из царства мертвых, назад, со дна, наверх, обратно... Кто он? Орфей или Улисс, какая разница - обратно! Надо плыть назад от восхитительных нимф из лазурных столетий, туда, где в дымчатой мгле серели не слишком заманчивые берега ревнивой современности - какой там ни есть, но единственной и законной жены...

И она молча, надменно встречала изменника и ловеласа - никаких скандалов, только презрительный свист февральского ветра во дворе, вновь мокрый снег крупными хлопьями, темный покинутый дом, возвращение по ступенькам с виновато опущенной голо-

вой. И бесполезно объясняться, просить прощения, протирать колени. Она сурова и непреклонна, ты опоздал, между нами все кончено! Расставание навеки: она тоже уходит, уходит, уезжает - и в окне я вижу спину последнего зеленого фургона, она садится в кабину и хлопает дверью, машина, буксуя, уезжает, уползает в подворотню, и гаснет во флигеле последнее окно... Что можно сделать? Бог с тобой, моя дорогая, как-нибудь обойдусь, не сгину, даже не буду тосковать. Пусть я виноват, но, можно подумать, ты чем-то лучше! Ты такая же дрянь, верная дочь своей матушки - Клио, хитрющей потаскухи, отдававшейся всегда тому, кто был сильнее, чтобы потом, когда любовник заснет, неслышно ускользнуть из волосатых лап и оставить очередного силача в дураках. Прочь, прочь, оставьте меня в покое, я не верю - ни вам, ни себе, никому, но все равно я останусь здесь вопреки всему...

Итак, февраль, последние числа, борьба с наступающими бесами, лампа, письменный стол, тетради, тексты, книги - шарик мчится, скользит по разлинованным клеткам, распахивая целину шелестящих пространств, обессиливает, иссякает, а после замены снова пускается вскачь размеренной рысью с копьем наперевес, нещадно разрушая все химеры, фантазии, соблазны на своем пути, - одинокий всадник идальго, Дон-Кихот наизнанку, разрушитель призраков и надежд, обличитель иллюзий сознания, гроза бесов, падающих под ударами копья.

Однако уничтоженные вовне, они внезапно оживали внутри, возникали везде и всюду - прежде всего, в тебе самом, из тебя, разбегались по дому, чтобы потом дразнить и заманивать. Побежденные на время,

они отступали, и отшельник мог спокойно вздохнуть, но в начале марта они вдруг вылетели из почтового ящика вместе с очередным письмом, которое пальцы доставали из отделения с номером 7... Откуда? От кого?.. Знакомый, трудночитаемый почерк, уголок в желтой краске... Да, конечно, это Плахов, наконец, он дал о себе знать.

Письмо было длинным и не менее странным, чем предыдущее. Дима писал, что живут они теперь там, все вместе, втроем, у его тетки в деревянной избе на берегу Белых вод у самого озера. О том, что случилось на мансарде, он подробно расскажет при встрече - все это так отвратительно, лучше не вспоминать; нервы им попортили изрядно. Брат с Константином еле-еле приходят в себя. Как ни странно, сильнее всего это подействовало на Костю, хотя вроде бы ему не привыкать. Так что не придавай этому большого значения (речь шла о подозрениях), Костя совершенно слетел с катушек, после погрома он стал подозревать буквально всех - ведь явно кто-то навел, а кто - неизвестно. Обидно, конечно, лишиться такой мастерской, ну да черт с ней; правда все равно восторжествует, не сегодня, так завтра, все встанет на свои места и супостаты получат по заслугам... Зато жизнь тут совершенно удивительная, продолжал он, проходит день за днем, а невозможно привыкнуть. Ну представь себе: озеро среди рощ и холмов, деревянные домишки - половина из них пустые, церковь, старый монастырь, изумительный воздух, никакой цивилизованной гадости. Мечта сбылась, они теперь поселятся в одной из опустевших изб, чтобы создать другую, новую жизнь, возродить русскую общину; они бросили пить все вместе, будут работать, пахать землю, косить, разводить

скот и т. д., и т. п. Пойми, убеждал он, тут все иначе - и хлеб, и молоко, и сено, небо, лес, и снег, золоченые кресты на куполах, звон колоколов к обедне, - ты должен приехать сюда и увидеть все собственными глазами. Иного пути нет, рано или поздно все в этом убедятся. А ты там погибнешь или тебя окрутит эта чернота, поганые оккультисты, служители Сатаны, ну как можно верить во всю эту пакость! А какие тут люди - простые и удивительные, пусть их мало, но нигде больше таких не встретишь! И трудятся совместно, и живут смиренно в соборном единении, живут здесь жены благоверные со своими отечестволюбивыми мужьями и рожают им сынов славных, и хозяйство ведут, и не мыслят боле ни о чем... Правда, на душе пока все равно тяжело, признавался он под конец, грехи не отпускают, никак не отойти... Но дурное пройдет - уже март, пройдет Великий пост, будет Вербное воскресенье, потом Страстная, наступит Пасха, Христос восстанет из мертвых, люди выйдут под колокольный звон, и поедет государь на белом коне со своею свитою, мы все встретимся, обнимемся, и свету не будет конца... Письмо заканчивалось пожеланиями скорой встречи и упованием на всесильное "завтра", которое разрешит и осуществит все.

А я читал, перечитывал, вертел письмо и так, и этак, вставал из-за стола, скрипел половицами, тряс головой, всматривался в зеркала, натирал виски вьетнамским бальзамом, опять читал все сначала и с ужасом думал: неужели я давно уже испанский король в белой палате с железными койками, который не в состоянии отличить ее от собственного кабинета?.. И полчища бесов вьются вокруг, гудят, нашептывают на ухо: "завтра... завтра... завтра" или "вчера... вчера...

вчера..." Уйдите прочь! "Завтра" будет еще более ужасным, чем "сегодня", но это "ужасное сегодня" будет нам казаться - я знаю - из того "ослепительного завтра" светлейшим сном. Я никуда не уеду, я не хочу никуда уезжать, ни за что, я хочу быть здесь и теперь, я хочу растянуть "сегодня" до бесконечности; и лучше быть последним человеком-призраком здесь, чем земным владыкой там. "Есть давнишняя традиционно-русская мечта о прекращении истории в западном значении слова, как ее понимал Чаадаев, - писал некогда Мандельштам в статье о "басманном" философе. - Это - мечта о всеобщем духовном разоружении, после которого наступит некоторое состояние, именуемое "миром". Мечта о духовном разоружении так завладела нашим домашним кругозором, что рядовой русский интеллигент иначе не представляет себе конечной цели прогресса, как в виде этого неисторического "мира". Еще недавно сам Толстой обращался к человечеству с призывом прекратить лживую и ненужную комедию истории и начать "просто" жить...

Навеки упраздняются, за ненадобностью, земные и небесные иерархии. Церковь, государство, право исчезают из сознания, как нелепые химеры, которыми человек от нечего делать, по глупости, населил "простой", "божий" мир, и, наконец, остаются наедине, без докучных посредников, двое - человек и вселенная.

Против неба, на земле,
Жил старик в одном селе...

Мысль Чаадаева - строгий отвес к традиционному русскому мышлению. Он бежал, как чумы, этого бесформенного рая".

Или вот еще, из другого автора: "Утопии осуществимы, но под обязательным условием их искажения... Думаю, что совсем не неосуществимость и видение грядущей гармонии является главным бесспорным свойством утопии. Человек живет в раздробленном мире и мечтает о мире целостном. Целостность есть главный признак утопии. Утопия всегда тоталитарна, и тоталитаризм всегда утопичен в условиях нашего мира. С этим связан самый главный вопрос - вопрос свободы. В сущности утопия всегда враждебна свободе... Парадоксально можно было бы сказать, что свобода, свободная жизнь оказывается самой неосуществимой утопией" (Бердяев).

Однако, стоп. Я понимаю, что все это ложится лишь на одну чашу весов - другая пуста, и истребление химер тоже может в конце концов привести к самоистреблению. И потому на другую чашу - как бы мне этого не хотелось - приходится класть противовес. Вот, например, такой: "Исчезновение утопии ввергает нас в такое состояние, когда сам человек становится не более чем вещью. И тогда мы сталкиваемся с величайшим из парадоксов, какой только можно себе представить, а именно - человек, который поднялся на высшую ступень господства над условиями своего существования, оставшись без каких-либо идеалов, превращается просто в импульсивное создание... Вместе с отречением от утопии человек утратил бы и свою волю творить историю, а с ней и свою способность понимать ее" (Карл Мангейм).

Что же в результате получается?.. Антиномия. Поминки по Утопии не состоялись, уничтоженная и погребенная, она снова ожила, восстала из пепла. И разум стонет, капитулирует, рассудок трещит, рассы-

пается, исторгая вопль гибнущей твари, повисшей в безблагодатной тьме. Есть сомнения, утверждения, сомнения - цепь непрерывных отрицаний, вечный маятник, стучащий между "да" и "нет"; есть трепет, ожидание, надежда, молитва, стон и стук... Гулкие удары в дверь, ноги топчутся на паперти, и губы шепчут: "Впусти, спаси и сохрани"; но двери заперты, заколочены наглухо горбылем, и кресты давно упали, и часовня развалилась, и колокольня сиротливо стоит без колоколов, и купола почернели, и батюшка давным-давно помер, и остается только уныло бродить около церковных стен...

Здесь могильная тишина, запустение, грусть, а где-то там, далеко, стучат топоры, визжат пилы, загораются огни, осуществляется очередной проект уничтожения мирового зла. Но с меня довольно, я не желаю принимать в этом никакого участия. Почему люди так неизменно глупы, они всегда живут, словно впервые, их ничто не может научить, любой прежний опыт для них - как азбука Морзе для обитателей желтого дома, и они опять начинают заново, чтобы кончить тем, с чего начали. "История - как сплошная неудача..." Что удалось? Ничего. И еще: откуда эта фанатическая ненависть к настоящему, какая-то онтологическая нетерпимость к "сегодня"? "Сегодня" не существует, есть только "завтра" и "вчера", "потом" и "прежде", и время не растянуть, не обнаружить в нем узенькую щель, ничем не заполненную секунду, пустое мгновение, куда можно было бы вбить клин, зацепиться и застыть... Н-нда, и вот я кончаю тем, что оказываюсь на стороне зла; причем уже не "над", не "по ту сторону", между теми и этими, как прежде, а именно по эту, эту самую черную сторону, куда мно-

гие вставали, но лишь немногие могли признаться в этом откровенно. Да, я против всего, что движется, меняется, стремится, летит напролом в никуда, в мышеловку прекрасного "завтра" и ворошит, раздувает угольки спокойно тлеющего костра. Странная вещь - зло; осиное гнездо, очаг смертоносных бацилл, колония саранчи на дне глубокой пещеры - до поры до времени равновесие популяции, вполне терпимые и умеренные жертвоприношения. Но стоит лишь приблизиться, подойти и, почуяв обманчивый привкус свободы, надавить, поковырять палкой, бросить вызов - тогда все, полчища валькирий покроют землю, затмят солнце, твердь разверзнется и поглотит нас. Но мы все равно по-прежнему ничего не знаем, не чувствуем, не догадываемся; мы опутаны тысячами нитей: какой-то провал, бездна спасительной несвободы - чуть заглянешь, и уже кружится голова; все остальное лишь игра, наваждение, позволяющее порой надолго забывать о тех ниточках, которыми мы накрепко привязаны к бытию.

Полюса поменялись местами - итак, восславим ограничение, табу, запреты, все, что противостоит безумию свободы, воспоем гимн злу, но, конечно, не чуме, проказе и прочим романтическим редкостям, а совершенно обыденному, уныло-канцелярскому, с печатями, инструкциями и указаниями, которые непосредственной гибелью не грозят - лишь апатией, неврозом, неврастенией, в худшем случае желтым домом. Повторяю, я благодарен именно ему, безраздельно владевшему поверхностью, и теперь я понимаю, сколь правильно и, главное, гуманно они со мной поступили, как я был вреден, опасен, самонадеян, ненужен. Да здравствует логократия, досье, ящички, картотеки,

расписания, нумерация, регламент, медленные осторожные шаги... Сто лет назад бандит Желябов жаловался, что, мол, история течет невыносимо медленно и надо бы подтолкнуть... Болван, если б ты знал, как она течет ужасно быстро! Ее надо "заморозить", остановить - так, да здравствует почва, традиция, стабильность, род, племя, нация, тяжелый вязкий быт; Катков, Леонтьев, Победоносцев - какие мудрые и глубокие мужи, как они все знали, предчувствовали наперед! Нельзя, невозможно, не велено, запрещено, не положено - какие сильные слова, так только и можно разговаривать с нами. Золоченые мундиры, департамент, иерархия, табели о рангах, кареты с четверками лошадей, суды, тюрьмы, больше похожие на нынешние санатории, - как это чудесно! Серые костюмы, галстуки, портфели, кабинеты со столами буквой "т" и тяжелыми стульями, секретность пропуска, черные лимузины, белые воротнички, тупые расплывшиеся лица - как это здоро... Нет, стоп, тут что-то не так, - куда-то не туда заехал. Вот это воспеть уже никак нельзя, не получится при всем желании. Мне, может быть, нравятся те, но, понятное дело, совсем не нравятся эти. Боже мой, куда же я скатился!.. Ведь все равно не заморозить, не удержать, не воскресить - лютый холод и канцелярский смрад рано или поздно поразят пламя, и чем сильнее мороз, тем страшнее пожар... Моя теодицея развалилась, и вместе с ней разваливаюсь и я. Поминки справлены, свобода похоронена, утопия мертва, и я опять на пепелище. Мне никак не удержаться посередине - все время сносит, влечет к другому берегу, который ничем не лучше противоположного, и справиться с течением нет сил...

Март. Снег по-прежнему: желтовато-серый, рыхлый, кислый, как простокваша, тяжелые крупные хлопья - скоро весь мир потонет в снегу. Однако в середине месяца снег внезапно кончился, стало холодно и ясно. Отопление, видимо, отключили окончательно, окна тут же изнутри покрылись льдом. Пришлось затапливать старую печь в Олиной комнате - оказывается, и привидениям бывает холодно. Так, понемногу, я стал привыкать к небытию, не так уж это и страшно. Один мой старый знакомый когда-то прожил в выселенном доме четыре года, а у меня не прошло и четырех месяцев. Я помню, он рассказывал, какое это было замечательное время: некоронованный король в пятиэтажном королевстве. Все на месте - свет, газ, вода, плохо было только то, что горячую - отключили. А у меня - водогрей, вечный двигатель с копотью и вполне благодушным нравом; есть даже стиральная машина - только все это мне теперь совершенно ни к чему... Зато по-прежнему приходят таинственные письма - кто их приносит, непонятно; наверное, какой-то сумасшедший почтальон, демон, посланник Сатаны. И они все пишут, пишут и не знают, что на самом деле меня нет, мне отказано во взаимности, я легок, призрачен, невесом, а они пишут мне как реальному и полноценному существу.

Пришло послание и от Антона. Он сообщал, что устроились они на новом месте превосходно. Теперь у них двухэтажный коттедж из кукермита, пять комнат - три внизу, две наверху, две кухни, подсобные помещения, все удобства и радости. Матушка чувствует себя хорошо. В двух шагах - сауна с бассейном, баром, видеотекой - хоть целый день не вылезай. Купил наконец себе Моммзена "Историю Рима", а

также Тацита и теперь наслаждается по вечерам. Да и вообще с книгами тут просто до неприличия. Кроме того, он всерьез раздумывает - не жениться ли: есть и невеста на примете, живет недалеко, славная девушка. Но все-таки страшно, мало ли, вдруг вновь неудача - засосет быт, не останется свободного времени. А оно так необходимо, продолжал он, ведь надо не только читать, но и самому все обдумывать, размышлять. И в заключение Антон впервые письменно решился предложить мне, как специалисту, свои мысли о всемирной истории, о нелегкой судьбе человечества. Это меня заинтересовало - у каждого на то свое право, свой угол зрения и точка отсчета. И если, скажем, Пуришкевич считал началом мирового кризиса возникновение масонских лож или возникновение "антихристова учения"; Дима Плахов - Жорж Санд и эмансипацию; мы с Дьяконовым - процесс секуляризации в позднем Возрождении и Раскол, то Антон - надо отдать ему должное - копал глубже всех и, отвечая на классический вопрос: "Когда же в с е началось?" - усматривал истоки мировых (да и собственных) бед в безудержном гедонизме и общем упадке нравов в поздней Римской Империи.

А через два дня в ящике обнаружился еще один конверт - с пурпурной бабочкой на райской ветке в левом углу. Я долго разглядывал штемпель, обратный адрес - ничего не разобрать, и только разорвав конверт, по почерку тут же узнал - письмо от Веры. Правда, не исключено, что никакого письма не было, это ангел принес и прочитал мне его во сне, и казалось, что я слышу ее голос...

"Я не хотела тебе писать, - сообщала она, - совсем не хотела: мне не хотелось тебя ни в чем обвинять, я

понимаю, в том, что наши отношения начались сразу с нелепой дуэли, виновата в первую очередь я. Условия предложила я, мне нравилось играть, но я не рассчитала свои силы. Да, это правда. Я была слишком самонадеянной и поплатилась. Поделом... Зачем я тебе об этом говорю? Сама не знаю. Долго сопротивлялась, и все же не выдержала, не смогла. Да, я бешусь, как только обо всем вспоминаю, малейшая глупость выводит из себя. Я не хотела тебе ни в чем признаваться, но даже теперь, несколько месяцев спустя, я чувствую себя совершенно опустошенной, выжатой, несмотря на то, что все теперь так хорошо. Вот именно - хорошо. Я люблю его, и мне очень приятно сообщить тебе об этом. Конечно, ты не поверишь, усмехнешься, какой глупый прием, я даже вижу ухмылочку на твоем лице. Но тем не менее это так, и твои насмешки, к счастью, ничего не изменят. Пускай я проиграла, но все же я жива, я выжила и буду жить. И после этого письма я все забуду, забуду тебя, забуду свою ненависть к тебе, все забуду. Я знаю, я уверена в этом, ты перестанешь меня мучить во сне, и я перестану тебя вспоминать. О, какая же ты обаятельная свинья! Как я сразу этого не почувствовала. Что ты со мной сделал! Я теперь пуста, абсолютно пуста, я прихожу в себя как после болезни. Мне стыдно, я пишу глупости, но ведь ты, да, ты вытащил, высосал из меня все и... Нет, я не буду лгать, ты не бросил. Ты слишком изыскан и изощрен, чтобы завершать так банально. Нет, ты все сделал так, чтобы я сама тебя оставила, чтобы я вынуждена была это сделать. Ты чувствовал, что рано или поздно мне станет стыдно, я не вынесу унижения и буду вынуждена сама... Молодец. Я тебя поздравляю. Все вышло именно так. Твоя совесть чиста, ты ни

в чем не виноват. О, разумеется, ты хорошо воспитан, ты не растопчешь, не испугаешься, не выкинешь. Ты будешь добр, участлив, тонок, будешь помогать духовно и по-всякому, и человек с тобой будет счастлив, пока вдруг не обнаружит, что стал пуст и что тебе скучно - ведь из него все выпито. Вот это самое страшное, когда я это ощутила. Ты, надеюсь, не забыл, когда это произошло? Потрясающее чувство - с о м н о й, оказывается, кому-то скучно. И это впервые, до этого мне было скучно со всеми, в том числе вначале и с тобой. А тут вдруг все наоборот. Бред. Я ничего не могла понять, как все это произошло. И никому ничего не объяснить, все как-то неуловимо, незаметно. Меня чем-то связали, привязали, как растягайчик на резиночке, и играют со мной: далеко - близко, близко - далеко. Но вот именно, все совершенно незаметно - тебя ни на чем не поймаешь, ты неуловим, как оборотень: как будто бы рядом и вместе с тем нет. Я чувствовала себя абсолютной идиоткой - что за чушь! Но теперь-то я знаю, что ты питаешься другими, и потому-то ты всегда больше слушаешь, чем говоришь. Потому-то тебя так любят - еще бы! - кругом все орут, а ты молчишь и как будто бы участливо слушаешь. Как может такое не понравиться! А кроме того, это все делаешь как бы не ты сам, а твоя природа - хитрющая, обволакивающая. Есть оправдание - ведь это твоя самозащита, каждый спасается, как может, и эта самозащита в той ситуации, в которой ты жил. Да, конечно, все оправданно, ты неподсуден. Но как ты искусно пользуешься всем этим, меняя обличия, наслаждаешься, втайне гордишься, упиваешься. Этого никто не видит, а если и видит, то все выглядит так невинно, необыкновенно, очаровательно, все так зага-

дочно, все в глубине - там все так сложно, изощренно, какие там мысли, страдания, - ах, Боже мой, можно все простить! Удивительно, но ты из всего можешь извлечь что-то для себя - из боли, ужаса, кошмара, из своего или чужого. Даже из моего письма ты что-то извлечешь - это меня бесит больше всего - опыт, наслаждение особого рода или что-то там еще, не знаю. Киру мне жалко, а тебя нет, в тебе есть что-то темное, нехорошее. Но ты поплатишься как следует, поплатишься, ты тоже. Я знаю - не так легко, как раньше. Все, я кончаю. Слава Богу, все кончилось, конец всему, я освободилась - и теперь будешь кончаться ты. Я вижу, как ты таешь, растекаешься на моих глазах, ты - никто, ты мой вчерашний сон, мираж, ты более не существуешь..."

Она была права: я читал жадно, с огромным любопытством, чувствуя странное удовольствие, и вместе с тем мне было жаль ее. Слова бежали, бежали, но вдруг остановились и загнулись - последняя фраза внезапно ударила и обожгла: "...ты не существуешь..." Почему? Ведь она ничего не могла знать. Совпадение, которое невозможно было предвидеть. Я мог ожидать всего, но только не этого. За что?.. Может быть, все обстоит именно так, не мне судить, но я не мог подругому. В чем моя вина? Да, я боялся, я хотел выжить, я боялся небытия, ну так что же?..

Вечер. Стол. Лампа. Окно. Темнеющие сумерки. В печи догорает платяной шкаф, который вчера я приволок с четвертого этажа. Жуткая тишина. Тень от пальцев бежит по бумаге, раздражает, мешает писать... Я встаю... Скрип... Подхожу к стене, вглядываюсь в зеркальную гладь... И ничего не вижу... Пустота. Легкое потемнение, тень - нечто бледное, трудноразг-

личимое на пыльной зеркальной поверхности... "Ты мой всерашний сон..." Она должна была меня расколдовать, освободить, но не захотела, не смогла простить... Но я - есть, я - есмь! Кто это подтвердит, зафиксирует, скажет, кто? Теперь только он... И вот палец уже закручивает телефонный диск, срывается - зараза! - набирает вновь, а там в жужжании проволочного космоса все та же протяжная дробь бесконечных гудков, отказ, упрямое равнодушие... И лишь на другой день к вечеру очередной гудок натянулся и - шпок! - внезапно лопнул, оборвался глухим скрежетом, и мужской, незнакомый, чем-то удивленный голос произнес: "Да, слушаю..." "Кирилла можно, пожалуйста?" Пауза... Что-то зашипело, хрустнуло... "А кто спрашивает?" "Ну, неважно, он дома?.. И простите, а вы - кто?" "Я - его родственник", - ответил голос очень уверенно и веско. "Какой родственник?!" - хотел было спросить я, зная, что никаких родственников быть не могло, но голос с непонятной радостью вдруг сообщил: "А вы что, ничего еще не знаете?" "Нет, что?.." "Хм... Дело в том, что его увезли еще две недели назад... Перед сном он принял слишком много люминала... и ничего нельзя уже было сделать..." Молчание. Хруст. Шипение... Но затем голос спросил с настойчивостью: "Простите, ну, а вы-то, собственно, кто?.."

IX

...Мокрый еще вполне зеленый лист на мгновение замер в воздухе, похоже задумался, потом резко изменил траекторию, описал дугу, впорхнув прямо в

форточку, и опустился на мой стол. Мелкий дождь, холод, ветер всю неделю. Лето было прохладным, а сейчас, судя по всему, кончается август, впереди осень, и рассказать осталось совсем немного. О чем рассказывать? О тишине, о капающей воде, о крысах, которые, правда, летом исчезли, о погасших огнях, о молчащем телефоне, о последнем звонке две недели назад (старая ошибка. "Это похоронное бюро?.." На этот раз в голосе я почувствовал как будто некую издевку - разозлился и заорал: "Да!"), о прогулках по вечерам, о траве и подорожнике, выросших за лето в колдобинах на мостовой, в трещинах вдоль поребрика тротуара, посередине площади перед закрытой кофейней прямо на изломе белой разделительной полосы и даже в моей подворотне. Или - о серо-молочном мороке белых ночей, о дымчатой пелене, висевшей над городом, о бессоннице, о комариных полчищах, проникавших везде и всюду, несмотря на марлю в форточках, о темных громадах домов с окнами, заколоченными жестью или фанерой, о разбитых пыльных витринах, содранных вывесках, о ветре, бегущем по мостовой вместе с обрывками газет, афиш, плакатов, вместе с тополиным пухом, пакетами, полиэтиленовыми мешками, о разорванном флаге, повисшем на проводах, о жизни вне времени, истории, пространства... Или - когда ночи почернели - о напряженном ожидании рассвета: вдруг он не наступит? О летаргическом сне, о желтеющих листьях, о долгих хождениях по дому в поисках несуществующих сокровищ, о раскопках в полутьме. Или рассказывать о том, как я ходил и подбирал ключи, открывал дверь в дьяконовскую квартиру - никакого родственника там, разумеется, не оказалось, все было вывезено - и книги, и мебель. Я

нашел только три папки с его записями и вот сижу теперь здесь и все это разбираю. "Я никогда не мог понять, - писал он, - почему все так исступленно ругают ложь (иллюзии, мифы), ругают как нечто априорно дурное. Но если подумать - ничего удивительного в этом нет, люди всегда склонны губить то, благодаря чему они живы. Ни у кого не хватает элементарной искренности и смелости возблагодарить спасительницу. Надо бы напоследок написать "Похвалу лжи"..." (Дальше неразборчиво.)

Вот именно: и я разрушал то, благодаря чему был жив... Странно, я понимаю, почему он это сделал, и - не понимаю: я бы не смог. А может быть, и смог, не знаю, но сейчас не могу. Сейчас это глупо, бессмысленно. Это все равно, что на том свете совершить самоубийство, чтобы вернуться в этот. Зачем, все равно одной ногой я уже там - не поможет... Здесь все кончилось, потому что все равнозначно. Равноценно, истинно и то и это, или, что то же самое, - и то и это ложно. Что бы мы ни выбрали, мы все равно пожалеем. Все сходится, соединяется в неподвижности, в точке, во мне... И я гибну: надо выбирать, а я не хочу, не могу, не буду. То есть теперь я, возможно, хочу, но поздно - не получится. Сказав "да", тут же нужно сказать "нет", или наоборот... Буриданов осел... И еще какое-то генетическое ощущение своей чужеродности, неслиянности, невозможности ни с чем соединиться. И хочешь, и стремишься, и все получается, но что-то не пускает, не входит - некий бугорок, шероховатость, опухоль, атавизм. Я помню это чувство - когда с Ольгой мы стояли в церкви, шла служба, пел хор - я это люблю ужасно, радуюсь, наверное, больше, чем она. А она "не любит" - это звучит нелепо, она тут с в о я,

это все ее, родное: я же - в коконе, прозрачной скорлупе, что-то незримо отделяет, отстраняет, не дает войти, все извне, со стороны - и тут, и там - и нигде.

А теперь она иногда приходит ко мне оттуда по ночам, и в темноте я слышу ее грустный шепчущий голос: "Ты, а вернее, все вы, прекрасно зная и чувствуя Его присутствие везде и во всем, тем не менее живете так, словно Его нет. Вы забываете об этом, потому что хотите забыть... И молитесь только своей свободе - она ваша икона, ваш идол, священнее которого ничего нет... Но потому-то вы ее и никогда не достигнете, она опять обманет вас, и вы начнете умирать, вы уже мертвы..."

Шепот, блики, лунная тень, шорох занавесок, легкий треск за стеной, шуршащая листва во дворе... Где ты? Не уходи, нет, это неправда, зачем ты так говоришь, нет, я жив, жив, жив здесь, в преисподней, я остался, я выдержал, а ты испугалась, не вынесла, бежала в прекрасный новый мир, туда, за горизонт, где новое небо и новая земля... И ваше бегство позорно - вы все бегуны, вы боитесь, вы не знаете зла, вы ничего не понимаете - лишь сходящий в ад знает небо. И я свободен здесь, совершенно, абсолютно свободен, бесплотен, легок, невесом, как дух, домовой, что воет тоскливо в дымоходах, он может подняться, вылететь в открытое окно, воспарить на последнем дыхании вместе с осенними ветрами над покинутым городом, оставив где-то далеко внизу дворцы, соборы, домики, тупики и переулки, вознестись тоскующим демоном, пролететь над антеннами, крышами, трубами, как над пиками Кавказа, то опускаясь и почти касаясь крылами, то поднимаясь ввысь и растворяясь в прохладном дыхании мира в последнем прощальном полете... Но

силы на исходе, и слабеют крылья, и стынет кровь, и все неумолимей падение... Ниже... ниже... ниже... Вот оно: страшное и сокрушительное, как низвержение метеорита, сгорающего в пламени своего неугасимого духа, - а-а-а-ба-да-дах! Грохот. Дым. Огонь. Пламя. Трагический кратер, выжженная земля...

Но почему-то ничего этого не было: ни грохота, ни кратера, ни тем более трагедии. А была зеленая вспухшая у пола стена, доски - местами облысевшие, рассохшиеся половицы, на которых покоился поверженный демон; серый с копотью потолок, вытяжная труба, водогрей, паутина в углу, плита, взвод бутылок у батареи, который Гога в свое время не успел сдать перед отъездом, а в воздухе аромат помойного ведра, несколько застоявшегося на коммунальной кухне... Полеты кончились, воздушный шкипер рассыпался на рифах, а наш домовой распластался на полу, растекаясь лопнувшим гнилым помидором. За окном шелестел моросящий дождь, а тут звенела тишина и только вода опять цокала в раковине... Все кончено... "Я хотел быть трезвым среди пьяных", - так, говорят, лет сто назад пробормотал старик Страхов перед смертью. Я вот тоже "хотел" и, наверное, был, но теперь не хочу... Все расчленил, вывернул, потрогал, до всего добрался: а там ничего - бездна, провал, пустота, ветер, гуляющий по переулкам, свистящий в черных вытекших глазницах, выметающий пыль, мусор, шлак вместе с останками дотлевающей жизни... Жизни. Жизнь. Ж-ж-и-и-з-н-ь. Что такое "жизнь"? "Жизнь" - всегда там, где все начинается с частицы "не", жизнь - как царство относительности, как долгая импровизация при отсутствии партитуры в театре ускользающих теней, как мучительная не-возмож-

ность на фееpическом карнавале возможностей, как скачущие по столу игральные кости, как чуть-чуть не сошедшийся пасьянс, как нескончаемый марафон сквозь джунгли вероятностей, как одышка, усталость, как смех, как самопожирающий хохот, как приснившийся полет, как агония Эвклидова рассудка, как молитва, мольба, как спасительный плач в черную лютую ночь перед Рождеством...

Жизнь - как то, что должно закончиться, рассыпаться, развеяться по миру... Иллюзия самодостаточности: ты - микрокосм, неисчерпаемая монада, неделимое ядро, свободное и не зависящее ни от чего. Тогда как в действительности ты - пересечение, точка, где сходятся линии - вот они разошлись, разъехались, и от нее не осталось ничего. Ты получил то, что так любил, к чему стремился, и теперь можно созерцать временное из вечности, оно тут, рядом, под окнами, "сегодня" превратилось в "давно", проходят дни, месяцы, годы, развалины становятся руинами, обрастают мхами, лишайниками, травами, медленно уходят в землю, и Агасфер, на этот раз наказанный неподвижностью, смотрит на них из своего окна...

Но стоп. Похоже, свет отключили... Да, все, щелчок ничего не меняет - темнота. К черту метафоры, долой литературу, записки заканчиваю при свече...

Вчера (или сегодня) или позавчера (или завтра) - не знаю - днем во время сна во дворе внезапно послышались голоса... сто лет никого не слышал... кто-то пришел... кто? Потом заскрежетало - что-то тяжелое тащили по двору, шум мотора, разговоры, ругань, лязг, затем застучали молотки - похоже, что-то заколачивали... Но было неясно, где это: наяву или во сне...

Пальцы на всякий случай нащупали на тумбочке димедрол, проглотили два колесика, но по-прежнему, правда, уже значительно дальше, что-то глухо грохотало, стучало, сыпалось, звенело... А когда веки снова открылись, то опять-таки было непонятно: что это, где? Кругом сплошная вязкая тьма - привычные прямоугольники окон, серевшие даже в самые густые ночи, отсутствовали... исчезли... Их не было... Пальцы нашарили коробок, чиркнула спичка, слегка затрещала свеча, ноги согнулись, спустились на пол, нашли тапки, встали, подошли туда, где должно быть окно... Оно было заколочено снаружи... и второе... и третье - все... А на кухне не светился синий светлячок водогрея - значит, перекрыли газ... Дом замурован... Они тебя похоронили... Склеп в пять этажей... Надо выбраться... Не хочу... надо, нет, не хочу, надо, на-адо... Как? Со светильником из катакомб, наружу... Лучше фонарик, но батарейки давно сели... Вот дверь... косяк... коридор... чулан... дверь открыта туда, и там дотлевают воспоминания... заскрипели половицы... лязгнул замок... площадка... лестница... вниз?.. Шарканье тапок, легкое эхо... парадная заперта... снаружи заколочена досками... тогда наверх, через чердак... пройти сквозь квартиру до следующего подъезда, подняться наверх... там есть дверь... так, вот сюда, сквозь квартиру... осторожно... сквозняк... задует пламя... сырость... фу, какая вонь...Отсюда уехали еще несколько лет назад... тут комнат десять, два коридора, ни черта не разберешь... куда? направо?.. нет, налево... что за ступеньки? комната... и тут все окна заколочены... назад... что-то пискнуло под ногами... тьфу, гадость!.. ага, вот дверь... нет, тут унитаз... ведь должен быть тут второй выход!.. неужели заблудился, был же

здесь не раз... Так, попробуем сюда, сюда... нет, огромная комната без окон, почти что зал... нет, тут никогда не был... что-то не так... страшно... назад, назад, сюда, направо, за угол... вдруг зацепило, звякнуло, загромыхало, повалилось. Дьявол!.. доски поднялись, ударили по лицу... Сверху что-то посыпалось, повалилось... у-у, как больно, сука... нога... не встать... теплое солоноватое на губе... свеча погасла... спички... где?.. тут нет, тут нет... и тут нет... все... тьма... тьма сознания... не выбраться... неужели все?.. встать, встать!.. нет, какая боль в ступне... домовой, почему так больно?.. больно... больно... перелом? растяжение?.. лежу... время проходит... часы, минуты, дни... надо ползти... ползти... ползти!.. куда? вперед... дальше... еще... еще... Ты приползешь, - сказала она, - тогда сказала, помнишь?.. Но куда... там ничего нет, нет, не может быть, а если есть, я это ненавижу... зачем ползти?.. неужели и я капитулирую... тогда зачем?.. не знаю... покорного судьба ведет, сопротивляющегося - тащит... что-то липкое на лице... неужели это все кровь... мордой об доски... за что... Так, вот сюда, налево... опять дверь... косяк... порог... м-м, заноза в ладонь!.. ступень, песок... осколки кирпича... штукатурка... похоже, лестница... что это? это все - я... все что вокруг... все это во мне... я - это все... все - это я... неразделимо... все, что уничтожено, уничтожено в себе... уничтожен свет... выползти из себя... из души... из внутренностей... осколки... все руки изрезаны... да, это лестница... вот перила... какой этаж?.. вот еще площадка... может, встать?.. нет, лучше ползти... ты скрывался слишком глубоко... неужели не выползу... или лучше вниз, в подвал?.. там через подземелье... путь вниз и путь наверх - один и тот же путь... Все равно не верю, не хочу, но ползу...

это ад... действительно... оказывается, тут нет ни чертей, ни сковородок... ад - это ты... зачем ползти?.. это ноги ползут, колени, мускулы... кажется, все... площадка... последний этаж... дальше железная лесенка... надо подняться, подтянуться... одна перекладина... вторая... третья... Дьявол - дверь на замке!.. замок, замочек... повесили давно, заржавел... надо что-то найти... спуститься... черт, больно... не нашарить... где-то был кирпич... ничего нет... ага, вот он... снова залезть... левой рукой за перекладину... замок... убью тебя... изобью... бью... бить... бить... бить!.. осколки в лицо... бить... бить... бить!.. грохот по всему дому... звяк... слетело!.. дверь открывается... затхлый чердачный воздух... в нос ударило мочой... под рукой что-то мягкое, скользкое под рукой... тут должен быть люк на крышу... лесенка... заржавел... присох... зараза!.. навалиться плечом, вот так, еще... еще... голуби урчат... И - воздух, ветер, крыша ухнула, гулко ударилась о кровлю...

Он выполз, распрямился, встал, держась за козырек трубы, и ветер ударил в лицо, зашумел, заговорил, зашептал... И гремела кровля, и стонали верхушки тополей, и чернели трубы, и ломались крыши, убегая вдаль, и стояло мертвое воинство антенных распятий, и сплошные темные облака медленно шли по небу, и лежал под ними прах и пепел всех миров... "И увидел я новое небо и новую землю: ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба... и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло..."

И была тьма безвидная, и лежало внизу мертвое время - тысячи тысяч лет, и дальше на другом берегу, в глубине, за черной бездной, за книгою жизни, за кровью столетий, за озером огненным, за поверженным злом, - он все увидел, - был град Новый - россыпь слезящихся огней, тусклый дрожащий свет, туманность - как будто Млечный Путь упал на землю, мерцающий призрак свободы, финал, которому не суждено исчезнуть никогда.